
3 1761 07035053 3

Д. РЯЗАНОВ.

Карл Маркс

и

РУССКИЕ ЛЮДИ

СОРОКОВЫХ ГОДОВ.

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ.



Отдел Печати Московского Совета Рабочих и Красноармейсих Депутатов.

МОСКВА. — 1919.

Типо-Литография Русского Товарищества Печатного и Издательского дела
Чистые пруды Мыльников переулок соб. дом.

I.

Вместе со всей германской демократией сороковых годов Карл Маркс был всегда непримиримым врагом официальной России. Но он очень долго, до конца шестидесятых годов, относился, если не враждебно, то очень скептически и недоверчиво также и к оппозиционной России. В основе этой глубокой антипатии лежало не только теоретическое предубеждение против „славян", которое Маркс, как и Энгельс, в значительной степени унаследовал от германских радикалов, хотя оба они никогда не отрицали за русскими славянами ни права, ни способности на звание „исторического" народа. Наоборот, оба основателя научного социализма, несмотря на то, что взгляды их в этом пункте подвергались изменениям, все же признавали, что русские славяне призваны сыграть более крупную историческую роль, чем другие славяне, но они относили ее к более позднему будущему. Пока же факт несокрушимого господства „государства" над „обществом", не вызывавший, по их мнению, никаких протестов из среды масс, вычеркивал Россию из списка тех стран, в которых коммунисты, отказываясь от осуществления своих „конечных целей", могли, однако, принимать участие в оппозиционном движении, направленном против существующего политического порядка. Представители такой оппозиции в России являлись, с этой точки зрения, „продуктом чужеядного творчества", переноса задач, выдвинутых западно-европейским развитием, в совершенно чуждую им среду. И личный опыт Маркса и Энгельса, казалось им, только подтверждал это теоретическое предубеждение. Мы

имеем свидетельство самого Маркса, которое показывает, что его недоверие к русским революционерам являлось результатом также личного знакомства с ними и неоднократного разочарования. Так, в одном из писем к другу своему, Кугельману, Маркс, сообщая ему, что готовится русский перевод „Капитала“, вспоминает при этом свои прежние встречи с русскими в Париже:

„По какой-то иронии судьбы именно русские, на которых я в течение 25 лет неустанно нападаю не только в немецкой, но и французской, а также английской прессе, всегда были моими „доброжелателями“. В 1843 — 44 гг., в Париже, русские аристократы носили меня на руках. Мое сочинение против Прудона (1847 г. [1]), а также книга, вышедшая у Дункера (1859 г. [2]), нигде не нашли такого большого сбыта, как в России. И первая чужеземная нация, которая переводит „Капитал“, это — опять-таки русская. Но этому, конечно, нельзя придавать большого значения. Русская аристократия в молодые годы учится в немецких университетах и в Париже. Она жадно набрасывается на самое крайнее, что ей в состоянии дать Запад. Для нее это — просто тонкое лакомство. Такое же явление мы встречаем и среди части французской аристократии в XVIII столетии. Как говаривал тогда Вольтер о своей просветительной деятельности: „ce n'est pas pour les tailleurs et les bottiers (это не для портных и не для сапожников)“. Все это нисколько не мешает тем же самым русским, как только они поступают на государственную службу, превращаться в негодяев“ [3]).

Приговор Маркса не отличается мягкостью. Но был ли он справедлив? Не говорит ли тут только одна ненависть „немца“ к „славянам“, диктовавшая Марксу такие же злые строки о русских, какие писал после „славянин“ Герцен о „немцах в эмиграции“?

Этот любопытный вопрос можно было бы выяснить только в том случае, если бы нам удалось установить, с какими „русскими аристократами“ имел тогда дело Маркс. И в то же

1) „Misère de la philosophie“. Paris-Bruxelles, 1847 г.
2) „Zur Kritik der politischen Oekonomie“. Berlin, 1859 г.
3) „Письмо от 12 октября 1868 г. „Neue Zeit“, XX (1902), Band 2, стр. 224.

время решение этого частного вопроса помогло бы нам попутно выяснить и другой вопрос, а именно: существовало ли какое-нибудь непосредственное идейное воздействие взглядов Маркса на людей сороковых годов, и в какой форме оно могло проявиться или действительно проявилось?

Что Маркс не имел в виду именно Бакунина, тоже принадлежавшего тогда в Париже к „русским аристократам“, видно уже из того, что он его не называет, хотя имя его само собой напрашивалось. Маркс, несомненно, не преминул бы сделать это в письме к Кугельману, с которым он охотно делился фактами и впечатлениями из своей деятельности в Интернационале, если бы его суровый приговор относился именно к Бакунину или только хотя бы отчасти к нему. Ни в сороковых годах, ни после наш „апостол разрушения“, при всем его почтении к учености и гению Маркса, не принадлежал к числу восторженных поклонников, о которых пишет Маркс. Несомненно, что были другие „русские аристократы“, которые в своих поисках за „последним словом“ европейского просвещения обращались и к известному тогда среди русских левых гегельянцев и фейербахистов соредактору Арнольда Ругэ по изданию „Deutsch-Französische Jahrbücher“. Мы должны их поэтому искать среди русских эмигрантов и путешественников сороковых годов.

Следует оговориться, однако, что Маркс черезчур суживает хронологически цикл — своих знакомств с „русскими аристократами“. Они вовсе не относятся только к 1843 — 1844 гг., как это можно было бы заключить, опираясь на буквальный текст его письма к Кугельману. Напротив, эти встречи и знакомства, начавшись в 1843 — 44 гг., продолжались и после изгнания Маркса из Парижа и переезда его в Брюссель. Они поддерживались чрез посредство Энгельса, подолгу жившего в Париже, да и вновь завязывались россиянами, проезжавшими чрез Брюссель.

Если для романтиков двадцатых годов главным пунктом притяжения за границей являлся Геттинген, если для „идеалистов тридцатых годов“ им служил Берлин, то уже в начале 40-х годов, вместе с протестом против правоверного гегельянства и ослаблением „галлофобии“, наиболее активные эле-

менты русской интеллигенции начинают стремиться в Париж, в „страну Сэн-Симона, Кобэ, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд“. Пребывание в Берлине становится менее привлекательным и потому еще, что кратковременная „весна“ начала сороковых годов в Пруссии очень скоро сменилась новым пароксизмом реакции. Не случайность, что тяга в Париж охватывает в это время с особенной силой также и немецкую интеллигенцию.

А для россиян Париж, долгое время составлявший после июльской революции запретный плод, вкусить от которого дозволялось только немногим счастливцам, получившим на то специальное разрешение от попечительного начальства, представлял сугубый интерес. На континенте это было тогда единственное место, где можно было наблюдать картину горячей парламентской борьбы в более или менее крупном масштабе; где можно было без особенных внешних помех познакомиться с богатой литературой по социальным вопросам; где можно было не только по книгам, но и на собраниях и в непосредственном личном общении, познакомиться с тогдашними корифеями французского социализма. Конечно, известную роль играло и то обстоятельство, что нигде тогда нельзя было с таким удобством соединять „полезное“ с „приятным“, а репутация „современного Вавилона“, установившаяся за Парижем, только увеличивала тяготение к нему наших „лишних людей“.

К сожалению, лишь с большим трудом можно теперь определить личный состав тогдашней русской колонии в Париже. Кое-какие указания может нам дать Анненков, оставивший в своих воспоминаниях столь часто цитируемое описание Маркса. Мы увидим ниже, что в этих воспоминаниях, несмотря на их, повидимому, фотографическую точность, встречается и немало ошибок и немало неправды. Во всяком случае, данные, приводимые Анненковым, могут послужить для нас отправным пунктом при исследовании вопроса, с какими „русскими аристократами“ мог встречаться в Париже Маркс [1]).

---

[1]) Специальная глава, посвященная проф. Emile Haumont „La culture française en Russie“ Paris, 1900 г., стр. 392—402) „русским посетителям Парижа при Луи-Филиппе“, не дает ни одного нового указания. В

II.

„Когда я прибыл в Париж по весне 1846 г., я уже застал там целую русскую колонию с главными и выдающимися ее членами, Б. и С-вым, занятую непрерывным исканием и обсуждением бытовых, исторических, философских и всяких вопросов, какие постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральном короле Людовике-Филиппе“ [1]).

Б., это—Бакунин, С-в—Сазонов. Бакунин переселился в Париж из Швейцарии в июле 1844 г., Сазонов основался там еще раньше.

Кроме показания Анненкова, мы имеем еще свидетельство А. Я. Головачевой-Панаевой, жившей вместе со своим мужем, И. И. Панаевым, в Париже осенью 1844 г. Оно дает нам возможность заглянуть в жизнь русской колонии в Париже в то время, когда там жил еще Маркс.

„Дешевый ресторан, куда мы ходили обедать, сделался сборным пунктом русских путешественников. Часто удостаивал являться туда Сазонов, уже четыре года как поселившийся в Париже. Он корчил аристократа, брюзжал на то, что невозможно обедать в таком кабаке, сердился на гарсона за то, что тот плохо ему сервирует обед, заказывал себе всегда дорогие блюда. Между Сазоновым и Бакуниным происходили горячие споры о французской политике“ [2]).

Головачева называет также В. П. Боткина, который в то время был еще в очень близких отношениях с Бакуниным. Во время споров последнего с Сазоновым он, по ее словам, был мучеником. Ему всюду мерещились шпионы, и в каждом посетителе, обедающем одиноко за столом, он готов был видеть шпиона и страшно сердился на спорящих. „Его вообра-

---

отличие от М. Неттлау, который в своей монументальной биографии Бакунина не ограничился только русскими данными, а постарался использовать также французскую и немецкую литературу, и Haumont не сделал даже попытки разработать современную французскую литературу, вопрос о русской эмиграции в Париже оставил совершенно в стороне.

[1]) П. В. Анненков. „Литературные воспоминания и критические статьи“. Часть третья. Спб., 1881 г., стр. 154.

[2]) Воспоминания А. Я. Головачевой. „Исторический Вестник“. 1889 г., март, стр. 555.

жение разыгрывалось иногда до того, что он от страха убегал из ресторана". Что Боткин действительно жил тогда в Париже и вращался не только среди русских, но и немцев, видно также из письма Арнольда Ругэ к Флейшеру (23 ноября 1844 г.), где, говоря об одном немце, он пишет, что последний „не хуже Боткина и лучше большинства других приятелей и собутыльников Бакунина" [1]).

Показания Головачевой и в известной степени также и мужа ее, Панаева, не всегда отличаются правдивостью. В них черезчур силен элемент сплетни; но, если им нельзя доверять там, где речь идет о содержании идейных разногласий, то чисто внешние черты Головачева хорошо улавливает и запоминает. Кроме названных, Головачева и Панаев [2]) указывают еще Николая Гавриловича Фролова, известного переводчика „Космоса". Но он, как и Кудрявцев, жил в Париже затворником и слишком мало интересовался всем, что лежало вне сферы его специальных научных интересов, как это видно и из его писем к Огареву, опубликованных вместе с письмами других приятелей Герцена и Огарева в „Русской Мысли".

С помощью этой переписки мы можем установить, что Н. М. Сатин жил в Париже весной 1844 г. (в письме от 3 марта 1844 г. он указывает Боткина, Сазонова, Фролова) и после опять туда приезжал из Берлина в марте 1845 г.; что Огарев, которого Головачева яко бы видела осенью 1844 г. в Париже, на самом деле попал туда только осенью 1845 г. и в январе 1846 г. уже вернулся в Берлин [3]). Если прибавить еще Мельгунова и какого-то помещика Клыкова, рассказами о похождениях которого в Париже Панаев смешил после своих московских друзей, то ими, повидимому, замыкается круг тех лиц, с которыми Маркс мог встречаться в Париже до своей высылки в январе 1845 г.

С кем же именно из этих „русских аристократов" был знаком Маркс? Вспомним, что он приехал в Париж в ноябре

---

[1]) Arnold Ruge's. Briefwechsel und Tagebüchblätter aus den Jahren 1825—1880". Band. I, стр. 375.

[2]) Панаев. И. И. „Литературные воспоминания". Собрание сочинений. Том шестой. Спб., 1888 г., стр. 228—31, 233—34.

[3]) „Из переписки недавних деятелей". „Русская Мысль". 1891 г., июль август.

1843 г.; что первый (двойной) и последний выпуск Deutsh-Französische Jahrbücher" вышел в марте 1844 г. [1]); что уже в мае 1844 г. произошел раскол между ним и Руге; что, кроме усиленных работ по истории конвента, которую он собирался тогда написать, Маркс с головой ушел в занятия по истории социализма и осенью 1844 г. пишет свой большой памфлет против братьев Бауэров и компании [2]). Такая интенсивная работа исключала для него возможность принимать слишком деятельное участие в том деловом безделье, которое представляла тогда жизнь „русских аристократов" в Париже.

Весьма вероятно, что с русскими он познакомился у Гервега, бывшего в то время кумиром оппозиционной Германии. А с приездом Бакунина, жившего одно время в редакции „Vorwärts", в котором принимал участие и Маркс, круг этих русских знакомств мог еще больше расшириться.

Было бы бесполезно строить теперь догадки, кто из названных выше русских, кроме Анненкова и Бакунина, был знаком с Марксом. В дальнейшем нашем изложении мы будем говорить только о тех „русских аристократах", относительно которых мы имеем несомненные данныя, устанавливающие их близкое знакомство с Марксом. Мы начинаем с Сазонова, несколько писем которого мы нашли в бумагах Маркса.

III.

„Сазонов, Бакунин, Париж,—имена эти, люди эти, городъ этот так и тянут назад... назад—в даль лет, в даль пространств, во времена юношеских конспираций, во времена философского культа и революционного идолопоклонства... С Сазоновым я делил в начале тридцатых годов наши отроческие фантазии о заговоре à la Риенци; с Бакуниным десять лет спустя в поте мозга завоевал Гегеля".

Так начинается глава о „Русских тенях" в „Былом и думах". Для всех историков русской литературы и интелли-

---

[1]) Mehring, F. Literarish. Nachl, etc. Band. I, стр. 335.

[2]) А не в Брюсселе, т.-е. в 1845 г., как это утверждает П. Берлин в своей книге: „Карл Маркс и его время", стр. 52.

генции сороковых годов, которым приходилось упоминать о Сазонове, воспоминания Герцена служили единственным источником, из которого они черпали без всякой критической проверки свои сведения [1]). А, между тем, эта глава „Былого и дум“ представляет еще в большей степени смесь Wahrheit und Dichtung, которая придает мемуарам Герцена такую своеобразную прелесть, но в то же время делает их зачастую крайне ненадежным „историческим документом“.

Николай Иванович Сазонов родился в Рязани 17 июня 1815 г. и был, следовательно, моложе Герцена на три года. Они поступили почти одновременно на физико-математический факультет Московского университета.

„На второй год университетского курса, то-есть осенью 1831 г., мы встретили в числе новых товарищей в физико-математической аудитории двоих, с которыми особенно сблизились... Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым (Сазонову было тогда 16 лет. *Д. Р.*) и тотчас же подружились. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента И. М. Сатина“.

Так сложилось ядро первого кружка русских сэн-симонистов. Герцен оставил нам живую характеристику тогдашней студенческой жизни. Сам Сазонов в 1860 г. в биографическом очерке Герцена, следующим образом описывает кружок, в котором он принимал такое деятельное участие:

„Все, начиная от наших костюмов, указывало на самую причудливую смесь: зимой мы носили черные бархатные береты à la Карл Sand и трехцветные французские шарфы. На собраниях нашего кружка мы декламировали запрещенные стихотворения Рылеева и Пушкина и распевали наполеоновские куплеты Беранже на ряду с антифранцусскими песнями Арндта, Уланда и Кернера. Наше чтение было еще более разнообразным: мы с одинаковым усердием разыскивали тогда еще очень

[1]) См., напр., Венгеров, С. А. „История новейшей русской литературы“. Спб., 1885 г., стр. 6, или биографию Сазонова в „Русском биографическом словаре“, написанную Модзалевским по обычному шаблону, принятому (с немногими исключениями) в этом издании коллежских и статских советников от истории

редкие документы, относившиеся к французской революции, и сочинения Шеллинга и Окена по натурфилософии. Начиная от мистических прорицаний Якова Беме и вплоть до ямбов Барбье и „Шагреневой кожи“ Бальзака—все волновало нас, все интересовало нас и вызывало в нас энтузиазм, иногда монотонный и бесплодный, но всегда искренний“ [1]).

В этой характеристике чувствуется критическое и насмешливое отношение к тому восторженному тону, который, с легкой руки Огарева и Герцена, господствовал в кружке и, вероятно, вызывал протест со стороны Сазонова. Между молодыми друзьями уже и тогда замечалось соперничество, приводившее нередко к стычкам.

„Сазонов имел редкие дарования и редкое самолюбие. Ему было лет восемнадцать, скорей меньше, но, несмотря на то, он много занимался и читал все на свете. Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили“.

На это стремление к первенству указывает в своих воспоминаниях и Константин Аксаков. „Замечательнее других был Сазонов, перешедший из другого отделения и принадлежавший к кружку Герцена, кружку совершенно иного склада, чем кружок Станкевича, кружку, любившему тогда эффекты и картинность. Сазонов был человек умный, но фразер и эффектер; он старался со мной сблизиться, желая сделать из меня прозелита, чего ему, однако, не удалось... Сазонов считался первым студентом; я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка, это—другой вопрос. Сазонов точно был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем, преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что он не знает того, о чем его спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства, с такой уверенностью в себе, что и профессору казалось, что Сазонов прекрасно

---

[1]) N. Sasonoff. „Alexander Herzen“. „Gaz. du Nord“, 1860, 26. Mai. Paris.

отвечает" [1]). Эта самонадеянность и умение „себя выставить", как видно, сильно шокировали тяжеловесного и простого отца русского славянофильства.

А как разнообразны были умственные интересы молодого Сазонова, видно было из того, что он усердно занимался также и по русской истории и, вместе с Аксаковым, отдал дань историческому скептицизму Каченовского. Для него Сазонов написал работу об исторических трудах и заслугах Миллера, которая была напечатана в „Записках" университета [2]).

В начале 1834 г. Герцен, Сазонов и Сатин составили программу нового энциклопедического журнала, который должен был „следить за человечеством в главнейших фазах его развития, для сего возвращаться иногда к былому, объяснить некоторые мгновения дивной биографии рода человеческого и из нее вывести свое собственное положение, обратить внимание на свои надежды". В план издания одинаково входили как науки гуманитарные, так и естественные. Интересно распределение между участниками литературной работы: философия истории была отведена Огареву, Сазонову и Герцену, теория литературы—Огареву, а статистическим отделом, которому они все придавали большое значение, должны были заведывать Лахтин, Герцен и Сазонов [3]).

Проект остался в области мечтаний. Тяжелая лапа московской полиции раздавила журнал в зародыше. В июле 1834 г. большинство членов кружка было арестовано. После девятимесячного тюремного заключения, приговором 31 марта 1835 г., Герцен, Огарев и другие были разосланы по разным губерниям.

„Когда нас арестовали в 1834 году,—пишет Герцен,— и посадили в тюрьму, Сазонов и Кетчер уцелели каким-то чудом. Оба они жили в Москве почти безвыездно, говорили много, но писали мало, их писем ни у кого из нас не было.

---

1) Аксаков, К. С. „Воспоминания студенчества 1832—1835 годов". Спб. 1911, стр. 30—33.

2) „По мнению автора, у Миллера не было критических способностей; так, он без возражения доверился летописи Нестора". Заметка Погодина. См. Барсуков Н. „Жизнь и труды М. П. Погодина". Том IV. Спб. 1891 г., стр. 218.

3) Лемке, М. „Очерк жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей". „Современный Мир", 1906 г., январь, стр. 67—69.

Нас повезли в ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию.

Отношения между Сазоновым и Герценом были уже и тогда несколько натянуты. На это намекают, между прочим, следующие слова Анненкова: „Вопрос о том, будет ли Герцен служить действительно или только числиться на службе, занимал его самого и его друзей еще при отъезде из Москвы. Один из них, любивший отличиться в среде товарищей противоречиями их вкусам, Н. И. Сазонов, пророчил Герцену, что из него выйдет лихой чиновник, но пророчество его не сбылось“ [1]). Об этом же свидетельствует и цитируемое нами ниже письмо Огарева.

Пробыв в Италии год, Сазонов возвратился в Москву. Там „его встретил мертвый calm plat, нигде ни тени сочувствия, ни живого слова... Из старых друзей один Кетчер был налицо, человек, с которым Сазонов, чопорный и аристократ по манерам, всего меньше мог итти рука об руку“. Сазонов попробовал устроиться в Петербурге, но он и там не выдержал. Его тянуло за границу, и в начале сороковых годов, вероятно, одновременно с Сатиным и Огаревым, он оставил Россию, но на этот раз устроился в Париже.

„Но дела не нашел он и тут. Шумная, веселая праздность заменяла немую, подавленную жизнь. В России он был связан по рукам и ногам, тут—чужой всем и всему. Другой, длинный ряд годов безцельно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него в Париже. Сосреточиться в себе, отдаться внутренней работе, не ожидая толчка извне, он не мог: это не лежало в его натуре. Объективный интерес науки не был в нем так силен. Он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд—но на виду, но в быстром приложении его, в практическом осуществлении и притом при громкой обстановке, при рукоплесканиях и крике врагов; не находя такой работы, он бросился в парижский разгул“.

Сазонов, действительно, жил и кутил во-всю. Особенной практичностью он никогда не отличался и скоро запутался в

---

[1]) Анненков. „Идеалисты тридцатых годов“. „Вестник Европы“. 1883 г., март, стр. 129.

долгах. Когда он, в конце 1845 г., хотел вернуться вместе с Огаревым и Сатиным в Россию, он должен был остаться, потому что не имел возможности расплатиться со своими кредиторами. К этому времени относится письмо Огарева к Герцену, писанное по возвращении из Парижа в Берлин, 10 (22) января 1846 г. „Надо выручить этого человека, которого, *sauf le respect, que je vous dois* [1]), я с гордостью назову своим другом. Раз запутавшись в денежных делах, он просто повернуться не может и от этого не мог с нами уехать“. И в следующем письме Огарев опять напоминает Герцену о необходимости помочь Сазонову.

Но друзья не поспешили на помощь, и Сазонов действительно попал за долги в Клиши. Так как Герцен с каким-то особенным удовольствием расписывает этот эпизод из биографии старого товарища, касаясь самых интимных сторон жизни Сазонова с грубостью, которая может быть объяснена, но не оправдана, лишь глубокой ненавистью, то мы считаем необходимым внести некоторые поправки в рассказ Герцена.

Насколько изменила в этом случае автору „Былого и дум“ память, видно из того, что он превращает себя в очевидца и свидетеля событий парижской жизни, о которой он мог слышать только от друзей или знать из их писем. Сазонов попал за долги в тюрьму или, вернее, был туда посажен своим соотечественником, неким Меем, в то время, когда Герцен был еще в России. Вот что пишет Анненкову по поводу этой истории Боткин в письме из Петербурга от 26 ноября 1846 г.:

„Скверно сделал, даже больше, нежели скверно, сделал Мей, посадив Сазонова в Clichy за такую пустую сумму. Но так ли это? До меня дошли слухи, будто бы Сазонов писал в Москву к Огареву о своем положении в Clichy, куда посажен за долг в 15 тыс. франков, и просил немедленно прислать ему эти деньги, грозя застрелиться. На это письмо поехали к нему сестры его, одна вдова, другая девушка, умолять его, чтобы он приехал с ними домой. Дела его по имению будто

---

[1]) „Из переписки недавних деятелей“. „Русская Мысль“, 1891 г., август стр. 19. Курсив наш. Как видно, Огареву хорошо было известно, что Герцен относился к Сазонову не очень дружелюбно.

бы очень плохи, так что, продав его, он будет иметь доходу не более двух тысяч руб. асс. Между тем, кажется, 12 тысяч ему отправлены. Ведь, подло радоваться чужому несчастью, но я вам должен признаться, в моих глазах Clichy не несчастье, а Сазонов, делаясь простее и добрее по мере, как карман его становится легче, сделается действительно добрым малым и отстанет от своих аристократических претензий, которых сущность состояла в том, что он мог тратить по 100 франков в день. И все-таки Мей поступил (если известие ваше верно) грубо и дурно“ [1]).

Герцен в это время был в России. Когда он весною 1847 г. приехал в Париж, Сазонов был уже на свободе. В 1853 г. Герцен еще хорошо помнил, что сейчас же по приезде в Париж он „не мог остаться дома“: „Я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова“, или, как он выражается в другом месте, с Бакуниным, которого он встретил раньше, „пошел удивлять Сазонова своим приездом“. А через десять лет Герцен в „Русских тенях“ рисует с чужих слов печальную картину личного падения Сазонова и не находит для него ни одного слова извинения!

Дело в том, что воспоминания Герцена о Сазонове были писаны под свежим впечатлением начавшихся уже столкновений со всякими „желчевиками“, российскими и заграничными, и, давая характеристику Сазонова, Герцен преследовал „дидактическую“ цель. Герцену „ужасно хотелось спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже исторической ошибки“. Пример Сазонова и Энгельсона должен был показать, что „реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживаются в остановке перед крайностями“. Мы увидим еще, что, кроме этой „дидактической“ тенденции, в отношении Герцена к Сазонову играло роль также поведение последнего в одном деле, очень дорогом для Герцена. И все же трудно понять, как мог, глубоко чувствовавший и нравственно чуткий, Герцен, чуть ли не на другой день после смерти старого друга, при известии о которой, по его собственным словам, у него „стукнуло сердце—будто раскаяньем, что

---

[1]) „П. В. Анненков и его друзья“. Спб., 1892 г., стр. 524—5.

я его так надолго оставил“, дать такое, дышащее злобой и не только несправедливое, но и мало правдивое изображение всей частной жизни Сазонова, какое мы находим в „Русских тенях“[1]).

Жизнь Сазонова так же мало исчерпывалась кутежами и долгами, как и жизнь другого приятеля Герцена, Бакунина. И об этом хорошо знал сам Герцен. Именно с помощью Бакунина и Сазонова он сумел так скоро войти с среду парижской эмиграции разных национальностей и местной революционной оппозиции.

Сазонов к этому времени уже успел окончательно втянуться в круг интересов международной демократии. Вместе с Бакуниным он играл очень заметную роль в начинавшемся тогда сближении русской оппозиции с польской эмиграцией. Из переписки Гервега с женой видно, что он находился в деятельных сношениях и с немецкой эмиграцией. С самим Гервегом Сазонов был очень близок, и свое восторженное отношение к певцу свободы он передал Герцену, которого, вероятно, именно он познакомил с человеком, сыгравшим такую трагическую роль в жизни обоих Герценов[2]).

Как и Бакунин, Сазонов в значительной степени успел уже освободиться от того „провинциализма“, который привозили с собой в Париж из различных „дворянских гнезд“

---

[1]) Безвременно погибший А. Серно-Соловьевич, наиболее яркий представитель того молодого поколения, в поучение которому Герцен писал „Русские тени“, был вполне прав, когда писал в своем памфлете: „Вы говорите, что ваше поколение, правда, громко ругавшееся и много пившее, оставляло, однако, „кое-что нетронутым“, и этим думаете поразить молодежь, а затем сами рассказываете такие семейные сцены и подробности о своих приятелях, описание которых гадко и омерзительно читать... Называют себя вожаками общества, основателями школ... и наполняют свои непозволительные воспоминания рассказами, достойными московских просвирень, о „любовницах“, „спущенных рубахах“, „толстых грудях“, „шампанском“, о том, „как их друзья валяются в одиннадцать часов утра на полу с девками“ и т. д., и т. д. А. Серно-Соловьевич. „Наши домашние дела“. Vevey, 1867 г., стр. 17—18. Защищая Сазонова, Серно нисколько не скрывает от себя его недостатков.

[2]) Fleury Victor. „Le poéte Georges Herwegh“. Paris, 1911, стр. 132. Автор приводит следующую цитату из одного письма Сазонова к Гервегу: „Вы поймете теперь, почему я, варвар, вас ценю и люблю больше, чем ваши соотечественники; вы поймете, почему я сравнил революцию с мартирологом первых веков христианства; вы поймете, что только там я мог найти примеры равенства, которые дают мне надежду стать когда-нибудь рядом с вами“ и т. д., и т. д.

русские „аристократы". Вместе с Бакуниным он был убежден, что грядущая революция,—а она чувствовалась в воздухе,— должна будет отразиться и на России, которая неизбежно будет выведена из ее долголетней спячки. Он и Бакунин с жадностью набрасывались на соотечественников, приезжавших из России, чтобы узнать от них, имеются ли там какие-нибудь симптомы этого назревающего переворота. И, по всей вероятности, Герцен разочаровал его так же, как и Бакунина.

„Сазонов и Бакунин были недовольны (так, как впоследствии Высоцкий и члены польской централизации), что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах, об оппозиции (в 1847 г.!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов, даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы „всемирной революции" и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление „Мертвых душ" было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов, они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали".

Но, если этот рассказ, несмотря на его „дидактическую" окраску, делающую его так похожим на письма „положительных" друзей самого Герцена, еще носит на себе печать правдоподобия и показывает только, как далек был Герцен от вопросов, занимавших „неистового Виссариона" в последние годы его жизни, то следующее за ним описание конфликта между Герценом, с одной стороны, Бакуниным и Сазоновым, с другой, опять-таки выдает желание в лице злосчастного Сазонова кольнуть лишний раз новую эмиграцию, недостаточно ценившую чисто литературную работу.

Вполне понятное замечание Сазонова, что Белинский при других условиях, которые позволили бы ему не ограничиваться только литературными темами, сделал бы гораздо больше,— и никто не сознавал этого с такой горечью, как сам Белинский,— дает Герцену повод обратиться задним числом с филиппикой

по адресу Бакунина и Сазонова, направленной, в сущности, против молодых и дерзких „желчевиков“ шестидесятых годов [1]).

Герцен к середине шестидесятых годов позабыл уже, в каком настроении он оставил Россию в 1847 г., и каким провинциалом явился он в Париж. Ту оргию „культа и преклонения пред французскими знаменитостями“, в которой он обвиняет своих старых друзей, он сам проделал в первый период пребывания своего за границей — и был за это жестоко наказан и личным и идейным разочарованием, наложившим такую мрачную печать на его статьи и письма после 1850 г.

Он забыл также, что, если его отношения к Сазонову в России были, как мы видели, довольно холодны, то за границей они значительно улучшились. В июне 1848 г. он просит Огарева заняться делами Сазонова: „В последнее время я, вообще, гораздо довольнее им“ [2]). В другом письме он пишет: „Эмиграция очень полезна теперь, но русских дельных очень мало; я могу назвать одного Сазонова, человека даровитого и имеющего вес в европейском движении“ [3]). В первом издании „Du développement des idées révolutionnaires en Russie“, разъясняя европейское значение русской эмиграции и доказывая, что „в данный момент эмиграция есть самый крупный оппозиционный акт, который может быть совершен русским“, он пишет, между прочим: „Наш друг, Николай Сазонов, изгнанный из Франции в 1849 г., был одним из наиболее энергичных защитников демократии в „Tribune des peuples“ и в „Réforme“ [4]).

Герцен прав только в одном отношении. Сазонов так же мало, как и Бакунин, был заправским литератором и так же

---

[1]) Аналогичное замечание Бакунина о Белинском приводит также Анненков.

[2]) Пассек, Т. П. „Из дальних лет“, том третий, стр. 116. Любопытна характеристика Сазонова, которую дает кузина Герцена: „Молодой человек с опухшими глазами и выразительным лицом... одно из тех эксцентрических существований, которые были бы исполнены веры, если бы их век имел верования; неспокойный демон, обитающий в их душе, ломает их и сильно клеймит печатью оригинальности“. Том первый, стр. 470—71. Отзыв Н. А. Огаревой-Тучковой („Воспоминания“. М., 1903 г., стр. 53) повторяет только слова кузины Герцена: очень умный, много знающий человек, но весьма несимпатичный и очень уже офранцуженный“.

[3]) М-ский, А. И. „Герцен и его корреспонденты“. „Русский Вестник“. 1889 г., апрель, стр. 137.

[4]) Iskander. „Du developpement des idées révolutionnaires en Russie“. Paris, 1851 г., стр. 171

мало был склонен к упорному, систематическому труду. Талантливый дилетант, как и Бельтов, которого Герцен в значительной степени срисовал с Сазонова, с огромными запросами, с деятельной и живой натурой, гораздо больше человек дела, чем человек мысли, — он, как и Бакунин, которому он уступал в диалектических способностях, зачастую без толку тратил свои недюжинные силы на пустяки и прожигал жизнь в ожидании грядущей революции.

Наконец, она явилась. Герцен еще осенью 1847 г. уехал в Италию, где он, в Риме и Неаполе, присутствовал при пробуждении итальянского народа. Но, как он сам рассказывает, Сазонов писал ему „в Рим письмо за письмом и звал домой, в Париж, в единую и нераздельную республику". Когда в мае 1848 г. Герцен приехал в Париж, Сазонов уже принимал самое горячее участие в революционном движении.

Все, что рассказывает дальше об этом времени Герцен, больше смахивает на злостную карикатуру, чем на правдивый рассказ. Увлеченный Сазоновым,—Бакунин уже уехал в Германию—он сделал попытку сблизиться с голодной и бунтующей Францией, но пролетарский мир остался ему чужд: он продолжал оставаться посторонним наблюдателем, от внимания которого не ускользает ни одна смешная сторона революционного движения, но которому по той же самой причине трудно войти в него органически, целиком.

Если верить Герцену, Сазонов „завел" какой-то международный клуб, куда он привлек всяких немцев и мессианистов. За неимением членов клуб этот скоро, мол, „лопнул". На самом деле это был известный тогда клуб „Fraternité des peuples" („Братство народов"), который „лопнул" только после июньского поражения французского пролетариата как одна из первых жертв декрета, направленного против революционных клубов. Герцен был таким же членом его, как Сазонов и Гервег. Еще в 1851 г., перечисляя европейцам заслуги Головина, с которым он был тогда еще в дружбе, он отмечает, что последний был президентом клуба „Fraternité des peuples" [1]).

---

[1]) Iscander. „Du développement" etc., стр. 171. В докладе комиссии производившей расследование о событиях 15 мая и восстания 23 июня. президентом клуба назван Rebstock. См. „Rapport de la commission d'enquête"

Не более „объективен“ и рассказ Герцена о сотрудничестве Сазонова в „Tribune des peuples“ Мицкевича. „Когда устроилась эта газета,— пишет Герцен,— Сазонов занял одно из первых мест в редакции, написал две-три очень хорошие статьи... и замолк, с пред падением „Трибуны“, т.-е. пред 13 июня 1849 г., был уже со всеми в ссоре. Все ему казалось мало, бедно, il se sentait dérogé, досадовая за это, ничего не оканчивал, запускал начатое и бросал вполовину сделанное“.

А, между тем, в одной из предыдущих глав „Былого и дум“ Герцен дает нам другую версию истории „Tribune des peuples“, которая показывает, что у Сазонова могли быть совершенно другие основания для недовольства и ухода из редакции. Во главе журнала стоял Мицкевич, и его симпатии к Наполеону-дяде ставили в очень затруднительное положение его сотрудников, которым приходилось иметь дело с Наполеоном-племянником. Как говорит сам Герцен,— и это показание его, как более раннее, заслуживает больше доверия, — „единства в редакции не могло быть; Мицкевич свертывал половину своего императорского знамени, usé par la gloire; другие не смели развертывать своего; стесненные им и советом, многие чрез месяц оставили редакцию; я не послал ни разу ни одной строчки. Если бы наполеоновская полиция была умнее, никогда „Tribune des peuples“ не была бы запрещена за несколько строчек о 13 июня. С именем Мицкевича и с поклонением Наполеону, с мистической революционностью и с мечтою о вооруженной демократии, во главе которой—Наполеониды, этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела“.

Ясно, что Сазонов имел, во всяком случае, не меньше оснований бросить этот журнал, написав для него несколько „очень хороших статей“, чем Герцен, бывший тоже членом редакции, не написать ни одной строчки.

---

etc., том второй, стр. 102. Люка в своей полицейской истории клубов февральской революции тоже называет Rebstock'a. По его словам, клуб основан был в марте 1848 г. и насчитывал среди своих членов представителей всех европейских национальностей, но больше всего немцев, итальянцев и венгерцев. См. A. Lucas. „Les clubs et les clubistes“. Paris 1851 г., стр. 154.

Мы не будем входить в детальный разбор той роли, которую сыграла „Tribune des peuples“ во время февральской революции. Она оставалась преимущественно органом польской эмиграции [1]) и именно поэтому резко подчеркивала необходимость международной революционной пропаганды. Борясь с русским панславизмом, который нашел себе талантливого представителя и в лице польского ренегата, графа Адама Гуровского, газета в то же время настаивала на необходимости объединения между русским и польским народом. Сазонов, писавший под именем Волкова,—псевдоним, под которым он выступал тогда и в литературе и на собраниях, пока не потерял своей легальности,—в статьях своих доказывал необходимость восстановления Польши [2]). Характеризуя партии, существующие в России,—консерваторы крайние (ортодоксы), консерваторы прогрессивные, революционеры и республиканцы,—он дает следующее резюме программы республиканцев, к которым он причисляет Воинова, Головина и Бакунина: „После того как восточная цивилизация Владимира Великого была разрушена татарским нашествием, все идеи прогресса и свободы в России находили свой единственный источник в независимой Польше. Покорив ее, русские опять вернулись к варварству и скрепили свои собственные цепи, так как завоевательная политика только усиливает абсолютную власть. Чтобы спасти Россию, мы должны восстановить Польшу при содействии ее народа и создать две республики, которые заключили бы между собой вечный оборонительный и наступательный союз“ [3]).

А в статье: „De la Russie“ Сазонов старался растолковать западно-европейским демократам особенности исторического развития России, но, отстаивая общину, как основную ячейку общественного строя будущей России, он не видит в ней источника спасения и для Западной Европы.

---

1) См. Limanowski, B. „Historya ruchu spolecznego w XIX stuleciu“ Lwow, 1890 г., стр. 308—312 и его же—„Historya democracyi polskiej w epoce porozbiorowey“. Zurych, 1901 г., стр. 444—48.

2) „Tribune des peuples“, 1849 г., 7 и 10 июня. „Opinion publique en Russie“.

3) „Tribune des peuples“, 15 марта 1849 г.

Когда именно вышел Сазонов из состава редакции, можно сказать только приблизительно. Первый номер газеты вышел 15 марта 1849 г. После 13 июня газета была приостановлена до 1 сентября. Преследования, обрушившиеся на польскую эмиграцию, заставили поляков выйти из газеты (16 октября), но и новая редакция, с Карпантье во главе, не могла уже спасти газету.

Совершенно фантастический характер носит рассказ Герцена о дальнейшей литературной деятельности Сазонова.

„В 1849 году я предложил Прудону передать иностранную часть редакции „Voix du peuple“ Сазонову. С его знанием четырех языков, литературы, политики, истории всех европейских народов, с его знанием партий он мог из этой части журнала сделать чудо для французов. Во внутренний распорядок иностранных новостей Прудон не входил: она была в моих руках, но я из Женевы ничего не мог сделать. Сазонов чрез месяц передал редакцию Хоецкому и расстался с журналом. „Я Прудона глубоко уважаю,—писал он мне в Женеву—но двум таким личностям, как его и моя, нет места в одном журнале“.

Еще хуже, по словам Герцена, кончилось сотрудничество Сазонова в „Réforme“.

„Через год Сазонов пристроился к воскрешенной тогда маццинистами „Реформе“. Главной редакцией заведывал Ламеннэ. И тут не было места двум великим людям, Сазонов поработал месяца три и бросил „Реформу“. С Прудоном он, по счастью, расстался мирно, с Ламеннэ—в ссоре. Сазонов обвинял скупого старика в корыстном употреблении редакционных денег. Ламеннэ, вспомнив привычки клерикальной юности своей, прибегнул к ultima ratio на Западе и пустил насчет Сазонова вопрос, „не агент ли он русского правительства“.

Во всем этом рассказе о „былом“ так сильно смешаны „быль“ и „небылица“, что его приходится подвергнуть сомнению почти во всех его частях. Теперь, правда, очень трудно установить вполне точно хронологическую последовательность всех отдельных событий и фактов тогдашней жизни Сазонова и Герцена, но и того, что нам известно, вполне достаточно, чтобы прийти к выводу, что Герцену и на этот раз память

изменила самым предательским образом. Против него свидетельствуют опять его же собственные, более ранние, показания.

После 13 июня 1849 г. Герцен, которого Сазонов убедил принять участие в демонстрации в защиту римской республики, демонстрации, кончившейся полным поражением Горы, поспешил уехать, во избежание ареста, в Женеву, но уже в декабре опять вернулся, чтобы привести в порядок свои денежные дела,—ему грозила конфискация его имущества,—и оставался в Париже до июля 1850 г. Выше мы видели, что он сам, в начале 1851 г. указывая на заслуги Сазонова, упоминает о его сотрудничестве в „Tribune des peuples" и „Réforme", при чем прибавляет, что Сазонов был выслан в 1849 г.

К сожалению, нет никакой возможности установить теперь точно дату, когда именно был выслан Сазонов из Парижа. После 13 июня иностранцы высылались десятками и в несколько приемов. В начале октября 1849 г. выслан был полковник Фраполли, его близкий приятель, маццинист и представитель римской республики. Мы знаем только, что в начале декабря Сазонов был еще в Париже, и потому всего вероятнее, что он был выслан во второй половине декабря 1849 г. за несколько дней до возвращения туда Герцена.

Первый (пробный) номер „Voix du peuple" вышел 25 сентября 1849 г., последний—14 мая 1850 г. Ламеннэ стал во главе редакции „Réforme", как то видно из заявления в самой газете, 1 октября 1849 г., после того как в сентябре вынужден был бежать в Англию его предшественник по редакции, Рибейроль. Весь 1850 г. и большую часть 1851 г. Сазонов пробыл в Швейцарии: в числе членов комитета европейской эмиграции известный провокатор Шеню называет вместе с Фраполли, Пиа, Буато и др. также „русского социалиста Сазонова" [1]). И его же имя мы встречаем на ряду с Иоанном-Филиппом Беккером, Гессом, Зорге среди швейцарских демократов-социалистов, пославших привет на лондонский банкет 24 февраля 1851 г. [2]).

---

[1]) Chenu, A. „Les chevaliers de la republique rouge en 1851". Paris. 1851 г., стр. 139.

[2]) „Le Banquet des Egaux". Londres 1851, стр. 6—8.

Итак, Сазонов мог работать в „Réforme" только во второй половине 1849 г. Но и в „Voix du peuple" он мог участвовать, как редактор, опять-таки не позже второй половины 1849 г. Дело в том, что прошло месяца три, пока возобновились закрытые сейчас же после 13 июня главные оппозиционные газеты. Быть одновременно редактором двух таких больших газет, как „Voix du peuple" и „Réforme", Сазонов, конечно, не мог даже в том случае, если бы они были тождественны по направлению. Поэтому Герцен, смутно помнивший, что Сазонов имел какое-то отношение к „Voix du peuple", превращает его только чрез год в редактора „Réforme", но, избегнув прегрешения против логики и здравого смысла, он сильно грешит против хронологии и против себя, ибо в 1850 г. он хорошо еще знал, что Сазонов никакого участия в редакции „Voix du peuple" не принимал и не мог принимать.

В действительности же дело происходило иначе. Когда, после закрытия прудоновской газеты „Peuple", нужно было достать залог для ее возобновления, пришлось искать, как рассказывает главный редактор „Voix du peuple", Альфред Даримон, — Прудон сидел в тюрьме, „добрую душу", которая согласилась бы дать 24.000 франков.

„Эта добрая душа нашлась благодаря Шарлю Эдмону, у которого всегда была счастливая рука. Он свел Гильемена (администратор прудоновской газеты *Д. Р.*) с одним молодым русским, который был одновременно великим революционером и великим писателем. Герцен, которому удалось спасти свое состояние...., согласился открыть нам свой кошелек. Гильемен, который поехал в Женеву вести переговоры об этом займе, говорил, что никогда не видел человека, который так охотно давал бы свои деньги. Казалось, что не мы, а он чувствовал себя обязанным" [1]).

Мы видим, что участие Сазонова в этом деле Даримону осталось совершенно неизвестным. Сам Герцен рассказывает о своем вкладе на издание „Voix du peuple" несколько иначе. Повидимому, Шарля Эдмона (псевдоним поляка Хоецкого)

---

[1]) Darimon Alfred. „A travers une révolution (1847—55)". Paris, 1884 г., стр. 180.

направил к Герцену Сазонов. 14 августа 1849 г. был подписан договор, в силу которого Герцен согласился дать 24.000 фр., но на таких условиях, от которых, по его собственным словам, Прудона „покоробило“ [1]).

Никаких других отношений к „Voix du peuple“ Сазонов не имел. Иностранным отделом заведывал Эдмон. Перечисляя всех близких сотрудников и редакторов газеты, Даримон называет Герцена, но не упоминает ни одним словом о Сазонове. Вероятно, по той же причине Герцен в 1850 г. говорит о сотрудничестве Сазонова только в „Tribune des peuples“ и „Réforme“. В середине шестидесятых годов Герцен успел забыть не только это, но и то обстоятельство, что, если он не принимал деятельного участия в „Voix du peuple“, хотя и состоял в числе ея rédacteurs habitues, как говорит Даримон, то не потому, что он почти все это время жил в Женеве. Наоборот, из пяти с половиною месяцев, в течение которых существовала „Voix du peuple“, он прожил три месяца в Париже, но писал очень мало, потому что был поглощен устройством своих денежных дел.

Возможно, что Сазонов, помогавший Прудону приискать необходимый залог, думал после прекращения „Tribune des peuples“ устроиться в газете, но перемена, происшедшая в „Réforme“, дала ему возможность стать в ней редактором иностранного отдела. На ведение дел в этой газете начал тогда оказывать влияние названный уже нами Фраполли. Сам Герцен упоминает имя последнего в связи с „Réforme“, когда рассказывает в главе XLI, писанной несколькими годами раньше, о системе залогов, введенной после июня 1849 г. и направленной против революционной прессы. „Людрю-Роллэн сначала, потом полковник Фраполли, как представитель мацциниевской партии, заплатили большие деньги, но не спасли „Реформу“.

Мы увидим сейчас, что Сазонов в этой газете успел занять очень влиятельное положение. Некоторый свет на деятельность его в 1849—51 гг. бросают письма его к Марксу, к которым мы теперь и обратимся.

---

1) Гершензон, М. „Западные друзья Герцена“. „Былое“. 1907 г., апрель, стр. 67—69.

IV.

С Марксом Сазонов мог познакомиться еще в 1844 году у Гервегов, с которыми, как мы видели, он был очень близко знаком. Маркс, переживавший тогда кризис в своем идейном развитии, был еще в очень дружеских отношениях с поэтом молодой Германии, на которого он возлагал большие надежды, не совсем, впрочем, оправдавшиеся. Именно личный конфликт из-за Гервега, никогда не отличавшегося особенной привер-женностью к „филистерской“ морали, послужил для него главным поводом к окончательному разрыву с Ругэ, с которым Маркс, по мере превращения своего из „якобинца“ в коммуниста, идейно все больше и больше расходился.

Знакомство Маркса и Сазонова в то время не шло дальше случайных встреч у Гервегов или в других местах. Между ними было несравненно меньше точек идейного соприкосновения, чем даже между Марксом и Бакуниным. Сазонов никогда не отличался большой склонностью к философским спекуляциям, и увлечение сначала Гегелем, а после Фейербахом, характерное для его друзей, прошло для него почти бесследно. Типичный просветитель, он тогда больше всего увлекался текущей политической жизнью. От старого сэн-симонизма он уже успел освободиться, и в то время как Маркс вырабатывал основы своего коммунистического мировоззрения, Сазонов оставался еще буржуазным демократом и в идейном отношении был ближе всего к группе, издававшей тогда „Réforme“. Поэтому Маркс вряд ли мог привлекать его даже в такой степени, как Гервег, и, несмотря на то, что по некоторым внешним чертам, на которые единогласно указывают все его знакомые, Сазонов больше всего подходит к типу „русских аристократов“, мы сомневаемся, чтобы он уже в период пребывания Маркса в Париже принадлежал к числу его восторженных поклонников.

Сазонов и Маркс могли еще встречаться в марте и апреле 1848 г. Весьма возможно, что так же, как и Бакунин, Сазонов отнесся сочувственно к романтической затее Гервега, собиравшего тогда легион из немецких эмигрантов, чтобы с оружием в руках внести революцию в Германию, затее, которая, как известно,

окончилась полнейшим фиаско. Маркс, наоборот, самым решительным образом протестовал против революционной авантюры немецких демократов и именно на этой почве разошелся как с Гервегом, так и с защищавшим его Бакуниным. И, наверное, Сазонов и Маркс опять встретились, на этот раз более дружелюбно, в мае и июне 1849 г. в Париже, куда Маркс попал после закрытия „Neue Rheinische Zeitung" и изгнания из Пруссии и где он вместе с Сазоновым принимал участие в демонстрации 13 июня. Попав в одну из первых групп эмигрантов, подлежавших высылке, Маркс 19 июля получил приказ выехать из Парижа, в департамент Морбиган, но предпочел уехать в Лондон.

Первое письмо Сазонова к Марксу относится к декабрю 1849 г. Оно писано на бланке газеты „Réforme" и датировано 6 декабря. Из него видно, что Сазонов считал себя тогда еще хозяином иностранного отдела.

„Мой дорогой Маркс!

„Я надеялся, что мне придется писать вам по более приятному для нас обоих поводу. Дело шло, как вам объяснит Вольф [1], о том, чтобы организовать демократическую корреспонденцию для немецких газет. Вольф должен был быть моим главным сотрудником, и он просил меня написать вам, чтобы узнать об этом ваше мнение и попросить вашего совета. Я думаю, что вы ничего не имели бы против его участия в таком полезном и нужном деле, но теперь об этом не может быть и речи. Граждане предполагают, а полиция располагает. Вольф, сотрудничество которого было бы для меня так драгоценно, вынужден уехать из Парижа, и я, таким образом, предоставлен собственным силам. А так как у меня на руках весь иностранный отдел „Реформы" и, кроме того, специальная корреспонденция для департаментов, то я не в состоянии взять на себя новую работу—тем более, что я до сих пор мало писал по-немецки. Я рассчитываю поэтому, что вы соблаговолите указать мне интеллигентного сотрудника среди немецких демократов, живущих в Париже. Вы таким образом окажете услугу хорошему

---

[1]) Фердинанд Вольф, или „красный Вольф", один из сотрудников „Neue Rheinische Zeitung".

демократу, ибо корреспонденция даст ему от 100 до 150 франков в месяц. Итак, я опять надеюсь на вашу помощь.

„Я надеюсь также, что вы напишите мне о ваших работах, которые вы начали в Лондоне. Я знаю, как вы много работаете, и слишком высоко ценю вашу деятельность, чтобы думать, что за это время вы ничего не сделали. Если вы что-нибудь уже опубликовали, пришлите мне немедленно, и я дам отчет в „Реформе“. Если у вас есть время, то напишите что-нибудь специально для нас (по германскому вопросу). Мы напечатаем вашу работу с большим удовольствием. Быть может, вы пошлете нам также статью о социализме и положении рабочих классов в Англии. Я знаю, как глубоко вы изучили этот вопрос, и я был бы счастлив, если бы мог познакомить читателей „Реформы“ с английской социальной жизнью при помощи вашего пера. Вы понимаете, конечно, что, если вы захотите писать статью для „Реформы“, то вам придется, поскольку это возможно, не касаться ни доктрин, ни личностей. Этого требует положение журнала.

„Если бы я хотел писать вам о здешних делах, то я вряд ли мог бы вам сообщить что-нибудь новое. Вы это видите так же хорошо, как и я, если не лучше, ибо расстояние придает предметам их настоящие размеры. Единственное, что я могу заметить, это—то, что, несмотря на весь шум, который производит Прудон и который производят вокруг его имени, число его приверженцев не увеличивается.

„Я читал новый журнал, издаваемый Бланки и его друзьями. До настоящего времени, за исключением одной статьи Туссенеля, он был достаточно бледен, но уже одно вмешательство Бланки в журналистику представляет факт огромной важности. Поживем—увидим.

„Располагайте мною, если вам нужно будет что-нибудь в Париже, и пишете мне на адрес „Реформы“.

Братский привет Сазонов“.

План, задуманный Сазоновым, не осуществился, так как он скоро был выслан из Парижа, откуда он направился в Женеву. Раз отдавшись журналистике, он уже не может сидеть спокойно и замышляет новое литературное предприятие.

Следующее его письмо к Марксу из Женевы (2 мая 1850 г.) дает не только новые данныя для биографии этого забытого русского революционера, но и нечто в роде profession de foi первого русского „марксиста“. Уроки революции 1848—49 гг. не прошли для него даром, и он старается теперь,—мы увидим сейчас, насколько удачно,—познакомиться с новым учением. В отличие от Герцена, он не посыпает голову пеплом, не обрушивается с проклятиями на старый мир и не ищет спасения на „востоке“. Революционный демократ, едва только освободившийся от своей национальной „пуповины“, делает шаг по направлению к социальной демократии, к пролетарскому коммунизму.

Женева, 2 мая.

„Мой дорогой Маркс.

„Это письмо будет передано вам Форесом [1]), который, как вы уже, вероятно, знаете из газет, и очень ловко и очень удачно ушел в Лионе от жандармов. Я очень рад, что имею теперь возможность—в первый раз со времени моей высылки из Парижа—написать вам без всякой опаски. Вы знаете, что я собирался предпринять в Париже с помощью Рейнгарда, которого вы мне рекомендовали. Я думаю, что это предприятие, слухи о котором распространились черезчур рано, было одной из причин моей высылки из Парижа. Приехал я в Женеву раздраженный, измученный, истерзанный, но с готовностью продолжать борьбу. Прежде чем я расскажу вам, что я делал тут, я считаю необходимым изложить вам в кратких чертах мою теперешнюю точку зрения. Мы знакомы уже давно, но мы имели очень мало случаев поделиться нашими мнениями. Вольф, вероятно, уже рассказывал вам, что в последнее время я в оценке людей и событий почти во всем соглашался с ним, а, следовательно, и с вами. Внимательное изучение последнего труда Прудона [2]) и чтение его соглашательских статей в „Voix du peuple“ заставили меня сделать еще один шаг в вашем направлении, и, так как я думаю, что вы не изменили своих вглядов, то вам приятно будет узнать, что я

---

[1]) Известный бас, эмигрировавший в Америку.
[2]) „Idèe gènerale de la révolution au XIX siècle“.

вполне присоединяюсь во всем существенном к тому, что вы высказали в манифесте, опубликованном вами в Брюсселе. Да, мой друг, естественный прогресс, непреодолимая сила логики, любовь к свободе и любовь к порядку привела меня к убеждению, что серьезный революционер может быть только коммунистом, и я теперь коммунист. Вот главные основания, которые толкнули меня на этот путь. Я думаю, что современное общество дало все, что мог дать принцип индивидуальной свободы, положенный в его изолированной и исключительной форме в основу общественного порядка; что, следовательно, всякое расширение этого принципа было бы только призрачным и иллюзорным. Я думаю, что европейская цивилизация прогрессирует только в области промышленности; что во всех других отношениях ее деятельность все более атрофируется, и что она не в состоянии решить те, все более сложные, проблемы, которые ее собственное промышленное развитие каждый день ставит пред нею. Я вижу, что варварство, поскольку оно еще не завоевано цивилизацией, имеет свой raison d'être, и что не индивидуалистической цивилизации удастся окончательно уничтожить это варварство. Я думаю, наконец, что нет никакой возможности установить рациональное мерило стоимости, и что, следовательно, всякий обмен одного индивидуального труда на другой индивидуальный труд может иметь результатом только несправедливость и эксплуатацию с одной или с другой стороны. Вот вкратце ход идей, не совсем ясных и стройных, путем которого я дошел до настоящего убеждения. Я прошу вас, дорогой учитель, обратить большее свое внимание на самую мысль и не останавливаться на форме ее выражения, которая не может быть неполной.

„Я должен был изложить вам это profession de foi; я хочу предложить вам одно общее дело и поэтому считал необходимым установить основные принципы, прежде чем действовать сообща. С тех пор, как я в Женеве, я видел и изучил всех замечательных людей, которые собрались здесь. Я приехал с проектом демократического журнала, который должен был издаваться в Париже раз в четверть года. Все обещали свое содействие, но в течение четырех месяцев, которые я провел здесь, мое мнение о большинстве этих людей

и пользе их сотрудничества сильно изменилось. Мадзини, к которому я сначала питал наибольшее доверие, оказался не только отсталым человеком, но даже ретроградом. Недавно он напечатал в своем журнале „L'Italia del Popolo“ смешную статью под названием: „Демократия и системы“, в которой он доказывает, что современный мир, несмотря на все противоположные утверждения, жаждет авторитета, власти. Вся статья написана в духе этой тезы и является ее развитием. Феликс Пиа, не имея ни репутации, ни влияния Мадзини, является гораздо более прогрессивным и более революционным деятелем. (Вы знаете, что в области коммунизма современное поколение во Франции признает только Кабэ, и что последний не представляет собой ничего привлекательного для поэтического соображения),“... Сазонов дальше объясняет, почему он остановился на трехмесячном журнале. Для ежедневного органа не хватило бы ни средств, ни людей. Еженедельник давал бы обзор событий за неделю и служил бы только интересам французской политики. Но его разочаровали вожди.

„Я признаю свое ослепление: я рассчитывал, что они могут содействовать прогрессивному предприятию, но я убедился, что они враги прогресса, а, следовательно, и наши враги. Они овладели словом „социализм“, как они прежде присвоили слово „республика“, и оба раза для того, чтобы эскамотировать дело; поэтому я не хочу и слышать об этих вождях. На них надо смотреть как на опасных врагов, которых следует остерегаться.

„Так мой план, оставаясь по форме тем же самым, изменился по существу. Долой дряхлых хранителей авторитета! Для нового дела нужны новые люди, необходимо, чтобы люди молодые, люди мужественные, люди, серьезной науки и глубоких убеждений выступили в роли централизаторов Европы в пользу великой идеи коммунизма. Нас в настоящее время мало, мы не играем большой роли в литературе, журнализме, политике, но число наше с каждым днем растет, не считая тех партизанов, которых мы имеем среди народов, где слово „коммунизм“ никогда еще не было произнесено (народов славянских и народов центральной Азии).

„Кто знает, что он является носителем творческих идей, тот не боится остаться изолированным — в особенности, когда он знает средства реализации этих идей при помощи науки и те переходные фазы, чрез которые должна пройти эта реализация. И задача нашего журнала заключается в том, чтобы создать европейскую силу для реализации коммунизма и указать практические средства для его осуществления.

„Здесь нас двое, я и Фраполли (бывший поверенный по делам Ломбардии, Тосканы и Рима в Париже). Последний написал великолепный труд, положив в основу свою дипломатическую корресподенцию 48 и 49 годов, где доказывает всю несостоятельность национальной политики и формального республиканизма. В предисловии, написанном рукою мастера, где он отрицает принцип национальности, который представляет собою только королларий религиозного принципа, он объявляет себя социалистом-пантеистом, и, таким образом, сделал то, чего не осмелился публично сделать до сих пор еще ни один итальянец [1]. Что касается меня, то я составил детальный план европейской политики, где я стараюсь доказать неизбежную необходимость не только союза, но и тесной федерации между тремя народами, которые в течение последних двух лет дали неоднократные доказательства их энергичного стремления к прогрессу: между Францией, Германией и Италией. Таким образом можно будет создать колоссальную централизованную силу, чтобы осуществить почти без трудностей идеи будущего.

„Имеется еще Герцен, брошюру которого „Vom anderen Ufer“ вы, быть может, читали. Он скорее человек увлечения, чем убеждения, и человек воображения больше, чем знания, впрочем, очень преданный и очень способный. Вот все имеющиеся тут силы. Я не преувеличиваю их размеры. В сравнении с поставленной целью они кажутся ничтожными, но это только повидимому. Если принимать во внимание только отдельных лиц, то это не много, но при их связях и знакомствах влияние их распространяется очень далеко. Фраполли и я располагаем парижской прессой. Организация, которую он

---

[1]) Речь идет о следующей работе: „Briefwechsel unserer Zeit von einem revolutionären Diplomaten und politische Studien über die Jahre 1848—49 in Frankreich und Italien“. Basel, 1851.

устроил в интересах Италии, пока он был посланником, и которую я сохранил, пока оставался в „Реформе“, все еще существует и распространяется даже за пределы Франции. Герцен доставляет деньги на издание „Voix du peuple“ и тесно связан с Прудоном и прудонистами. Фраполли в силу своей дружбы с Мадзини и услуг, оказанных им Италии, располагает всеми силами итальянской организации, которые очень велики. Кроме того, здесь (в Женеве) мы нашли неожиданную помощь, которой нельзя пренебрегать. Это француз, некто Шарпантье, мало известный, но энергичный, преданный, способный и очень прогрессивный. Он предлагает нам помощь могучей и обширной организации, центр которой находится в Лионе, но разветвления которой имеются в Париже и во всей Франции. Вы видите, что это довольно почтенная сила но, дорогой мой учитель, я считал бы все это очень недостаточным, если бы не рассчитывал на вас. Именно, поэтому я считал необходимым писать вам так подробно, чтобы познакомить вас с моим планом, с моей точкой зрения и средствами действия. Я повторяю, что рассчитываю на вас и рассчитываю самым положительным образом для немедленного осуществления. Вот что мы решили пустить в первом номере, предполагая ваше согласие. Будет общая статья, не подписанная, которая будет выражать взгляды, общие всей редакции, и ряд специальных статей с подписями. Что касается этих специальных статей, то мы имеем статью Фраполли об Италии, Герцена—о России, мою—о Венгрии и славянском вопросе, Пиа—о Франции, статью (также о Франции) Массоля, моего друга, вместе со мной редактировавшего „Реформу“ (он прудонист). Я рассчитываю, что вы нам дадите статью о Германии— в том смысле, который я указал, т.-е. резюме какого-нибудь злободневного вопроса, в одно и то же время манифест и програму. В виде общей статьи предполагается мой план европейской политики. Само собой разумеется, что она предварительно будет отослана вам для прочтения и одобрения. Я послал бы ее вам вместе с этим письмом, если бы я был уверен, что последнее дойдет; но, так как вы могли переменить адрес, или что-нибудь может случиться в дороге, то я не хочу присоединять к нему мой план, которым я очень дорожу. Но

напишите мне сейчас же, и я пошлю его на указанный вами адрес.

„Во втором номере придется дать программную статью, т.-е. изложение системы переходных мер, которые, ведя прямо к осуществлению наших идей, соответствовали бы потребностям момента. Понятно, что только вы в состоянии выполнить такую работу. Мы предполагали сделать из нее манифест партии для всей Европы, как только она получит одобрение наших друзей в Париже и Лионе. Если вы дадите себе труд сейчас же набросать основы этой программы, то мы постараемся, чтобы она сейчас же подвергнута была обсуждению, и чтобы ее основные идеи были приняты. Для этой работы вам, вероятно, понадобится месяца три. Что касается вашей статьи о Германии, то я не только надеюсь, но и уверен, что вы сейчас же за нее возьметесь, и что в две недели она будет готова. Вы пошлете ее прямо в Париж Массолю (36, Rue Neuve des petits Champs), который будет заведывать журналом. Издатель, которого мы нашли, обязуется печатать его на свой счет и делить с нами прибыли, если они будут. Чтобы покрыть издержки, необходимо продать 600 экземпляров. Если будет продано 1.200, то останется чистых 3.000 франков, что составит 50 франков с листа. Это, конечно, мало; но, если первый номер будет иметь успех, то мы сможем издать второй за наш счет и получить в два раза больше.

„Я рассчитываю не только на вас, но и на всех ваших друзей. Если бы Вольф не дал мне в Париже доказательства своей неизлечимой лени, я пригласил бы его сотрудничать. Отвечайте же мне сейчас и самым подробным образом и обещайте мне написать те две статьи, о которых я прошу. Вы понимаете их значение не меньше, чем я сам... Прощайте, мой друг, я, быть-может, никогда уже не буду писать вам так подробно, но я желал бы иметь возможность писать вам часто.

С братским приветом Сазонов“.

„P.-S. Что касается немцев, имеющихся тут, то лучший из них, это — молодой Зигель [1]), последний главнокомандующий баденской армии. Это—человек, исполненный лучших намерений и склоняющийся к нашим взглядам. Если в вашем письме вы скажете несколько хороших слов о нем, это будет полезно. Я могу назвать еще доктора Фридмана, который тоже на хорошем пути".

Как реагировал Маркс на это письмо своего нового прозелита, нам неизвестно. Он был тогда поглощен работой по реорганизации союза коммунистов и только-что (в марте 1850 г.) вместе с Энгельсом составил свое „Обращение к союзу", в котором подвергает резкой критике демократическую партию. На ряду с этой организационной работой Маркс должен был еще вместе с Энгельсом нести труды и заботы по части издания „Neue Rheinische Zeitung", для которой он, кроме библиографии, написал „Классовую борьбу во Франции" и другие статьи. Взять в такое время на себя новые обязательства было бы рискованно даже в том случае, если бы Маркс с бо́льшим доверием относился к редакторским и издательским талантам Сазонова. А он, по всей вероятности, отнесся очень скептически к рвению „русского революционера", который, как это видно было и из письма, несмотря на свое желание освободиться из-под власти старой идеологии, все свои расчеты строил на тесном союзе с той самой демократией, с которой Маркс так беспощадно сосчитался в последних книжках „Neue Rheinische Zeitung". Компания, которую хотел сгруппировать Сазонов, была слишком разношерстной, чтобы обещать какую-нибудь плодотворную работу. А тут, на беду, он дал Марксу лишнее доказательство своей политической наивности, рекомендуя ему горячо и прося у него нескольких хороших слов о Зигеле, против которого—вместе с другими его товарищами—направлено было второе обращение к союзу (июнь 1850 г.) [2]).

---

[1]) Зигель в „Воспоминаниях" говорит о своем знакомстве с Сазоновым и упоминает, между прочим, о его совместном житье с Форесом, который должен был передать это письмо Марксу. „Denkwürdigkeiten des Generals F. Sigel" Herausgegeben von W. Blos. Mannheim. 1902, стр. 138—9.

[2]) Karl Marx, „Enthüllungen über den Kommunisten Prozess zu Köln" Zürich, 1885, стр. 83—88.

Как бы то ни было, из предприятия, задуманного Сазоновым, несмотря на то, что он, как казалось ему, предусмотрел все и вся и обставил дело самым „практическим“ образом, не вышло ровно ничего. Реакция все усиливалась. Один оппозиционный журнал закрывался за другим. А для „подпольной“ литературы Лондон представлял более удобный пункт, чем Женева, где французская полиция чувствовала себя как дома. Сазонов остался в Швейцарии, принимая, как мы видели, участие в эмигрантских делах, и был также членом комитета европейской демократии, о котором так резко отзывается Маркс. Пользуясь своим старым знакомством с Джемсом Фази, он оказывает различные услуги французским и немецким эмигрантам, но, именно, эти близкие сношения с женевским диктатором навлекли на него подозрения, оказавшиеся совершенно неосновательными. Он сблизился тогда с Гессом, с которым он познакомился еще в Париже, хлопотал даже об издании его „Jugement dernier du vieux monde social“—брошюры, в которой, на ряду с признанием огромных теоретических заслуг Маркса и критикой Прудона, подчеркивается, в полном согласии с противниками Маркса, Виллихом и Шапером, его доктринерство и неспособность к „живому“, „практическому“ делу [1]) — и, как видно из одного его письма к Гессу, писал статьи для „Populaire“, органа кабетистов, в котором играл тогда очень влиятельную роль его старый парижский приятель, польский социалист Кроликовский [2]).

С Герценом он продолжал быть в хороших отношениях. Летом 1851 г., когда Герцен решил принять швейцарское подданство, Сазонов ездил с ним вместе в кантон Фрейбург, где Герцену удалось „вкупиться“ в одну маленькую общину. Но уже чрез несколько месяцев мы находим его снова в Париже, куда Сазонов поехал нелегально. Он очутился там как-раз в то время, когда Наполеон и его клика подготовляли свой coup d'état. К этому времени относится следующее его письмо к Марксу (10 сентября 1851 г.).

Париж 10-го сентября.

---

[1]) В статье об отношениях между Герценом и Марксом мы еще вернемся к этой забытой, но очень любопытной брошюре.

[2]) См. Prudhomme aux Jules, „Etienne Cabet et son oeuvre“. Paris, 1907.

Мой дорогой Маркс!

„Я уже давно не имею от вас никаких известий и так же давно не писал вам о себе. Дело в том, что я уже давно собирался навестить вас в Лондоне, но вдруг очутился в Париже, где думаю остаться до тех пор, пока полиции не удастся накрыть меня и выслать. Париж никогда еще не был так интересен, как в настоящий момент. Старый мир находится накануне своего полного разложения. Процесс его гниения до такой степени подвинулся вперед, что составляющие его атомы отделяются друг от друга и превращаются в самостоятельные центры. Только этим можно об'яснить возникновение такого множества проектов, надежд, интриг, заговоров, исчезающих так же быстро, как они зарождаются. Это самая причудливая и забавная комедия, какую только можно себе представить. Все устраивают заговоры — легитимисты и орлеанисты, бонапартисты и soi disant, демократы, — и все они рассчитывают на армию. Бонапарт возлагает свои надежды на войска в Париже, легитимисты — в Лионе, орлеанисты — на африканских солдат, а наши красные — на всех солдат зараз. Для заговоров пускаются в ход все средства: так, лотерея золотых слитков была бонапартистской затеей, чтобы в необходимый момент вооружить пятьдесят тысяч негодяев. Этот заговор, для которого приготовили даже мундиры, яко бы посланные герцогом Брауншвейгским, кончился ничем только благодаря хищности бандитов, окружающих Бонапарта и издержавших слишком скоро и черезчур много денег. А предприятие, анонсируемое в газетах под затейливым названием: „Тридцать дней развлечений“, представляет орлеанистский заговор, цель которого пропагандировать кандидатуру герцога Жуанвильского.

„Я привожу эти детали, чтобы показать вам, как близко уже разложение старого общества. С другой стороны, народ все больше освобождается от предрассудков старого мира. Рабочие ассоциации создают людей, знакомых с деловой практикой. Некоторые из этих ассоциаций гораздо более радикальны, чем это можно было бы думать на основании их статутов, которые, вообще, редактированы не особенно удачно. Недостает только ясной и точной доктрины. Я перевел на французский язык половину вашего манифеста, опубликованного в 1848 г.

Дропке [1]) взял на себя перевод другой половины и издание, но он ничего не сделал: он — лентяй и легко поддается влиянию всяких буржуа.

„Вы знаете, конечно, что Кабэ вместе с П. Леру и Луи Блапом стараются об'единить коммунистов. Жаль, что за это дело взялся именно Кабэ. Вы знаете, насколько этот замечательный человек ограничен во всем, что касается науки и доктрины.

„Мне передавали, что вы и Энгельс хотите воспользоваться всемирной выставкой, чтобы показать буржуазии, как вся ее деятельность, даже в наиболее благородных и прогрессивных ее проявлениях, совлекает ее с традиционного пути и заставляет ее подготовлять наступление коммунизма. Это — прекрасный сюжет достойный вашего гения, и я хотел бы, чтобы вы его разработали à fond.

„Пишите мне, дорогой учитель, и примите уверение в постоянной дружбе и преданности вашего брата Сазонова.

„Письмо это будет передано вам гражданином Массолем, одним из моих друзей, а также друзей Прудона. Он вам сообщит последние новости об этом великом реформаторе, к сожалению, теперь еще более буржуазном, чем когда-либо прежде".

Маркс уже знал в это время о сближении Сазонова с Гессом. Кроме того, Дропке, не поладивший с Сазоновым [2]), успел написать Марксу, что в швейцарских эмигрантских кругах к „русскому социалисту" относятся с недоверием, так как он играет двусмысленную роль, и что даже Фраполли разошелся с ним. Сазонову, как и Бакунину, пришлось расплачиваться за подвиги русских агентов, о которых мы расскажем ниже. Маркс поэтому отнесся к письму Сазонова несколько скептически, тем более, что как раз в это время произведены были массовые аресты среди немецких эмигрантов в Париже. В своем письме к Энгельсу он выражает даже

---

[1]) Один из сотрудников „Neue Rheinishe Zeitung", действительно, не отличавшийся большим прилежанием и стойкостью. В конце пятидесятых годов он уже порывает связи с своими старыми товарищами и возвращается в лагерь „ликующих".

[2]) Дело чуть не дошло до дуэли.

удивление по поводу неожиданного появления Сазонова в Париже. Но это непонятное для Маркса обстоятельство было скоро вполне раз'яснено, и в другом письме он уже сам старается раз'яснить Энгельсу неосновательность его подозрений против Сазонова. Дальнейшие фантастические сообщения и похождения Дронке показали, как осторожно надо было относиться к его первому письму о Сазонове.

V.

Вероятно, после государственного переворота 2 декабря 1851 г., Сазонову пришлось оставить Париж. Ему и на этот раз не удалось уехать в Лондон, и он опять направился в Женеву. Сколько времени пробыл он в Швейцарии, трудно сказать. В „славянских письмах“ Островского [1]) напечатано письмо его, помеченное 29 ноября 1853 г., но без указания места. В этом письме он горячо протестует против попытки отожествить его и его единомышленников с русским правительством. „Как и вы, — пишет он, между прочим, — мы также христиане: эта религия, в которой нас воспитали наши матери, научила нас практике христианской свободы“. Является ли эта фраза просто литературной façon de parler или отражением мимолетного настроения?

Мы знаем только, что материальное положение Сазонова в это время было ужасно [2]). Лишенный, согласно приговору сената, прав состояния 14 декабря 1850 г., он, вероятно, перестал получать всякие денежные средства из России. С Герценом он разошелся в 1852 г. „Между нами пробежала кошка,—говорит Герцен: — Сазонов неоткровенно поступил со мной в одном деле, очень дорогом мне. Я не мог перешагнуть чрез это“. Речь идет о трагической истории жены Герцена, пережившей тогда увлечение Гервегом. Вернувшись, разочарованная и душевно разбитая, жена Герцена умерла в маѣ 1852 г.

---

1) Christien Ostrowski. „Lettres slaves (1833—57)“. Paris, 1857.

2) Покойный Лафарг со слов сына Сазонова, офицера французской армии, рассказывал, что Сазонов одно время, буквально, голодал. На такую же острую нужду указывают его письма к Гессу.

Перенесший незадолго до этого смерть матери и горячо любимого сына, потонувших 16 ноября 1851 г., Герцен на время потерял душевное равновесие и не в состоянии был хладнокровно относиться ко всякой попытке так или иначе смягчить вину Гервега или оправдать его поступок. Из следующего письма Герцена к Гессу видно, что, именно, послужило причиной расхождения между ним и Сазоновым [1], которому приходилось выбирать между двумя старыми друзьями.

29 мая 1854 г. London 25, Euston Square.

„Мой дорогой Гесс!

„Благодарю вас за ваше письмо. Оно показывает, что вы питаете ко мне большое доверие и даже большую уверенность в доброте моего сердца—чем я, к сожалению, не могу похвастаться.

„Было бы слишком долго и еще более неприятно для меня рассказывать вам в деталях, как и почему я разошелся с Сазоновым. Я абсолютно ничего не могу сказать против него с общей точки зрения. Он ранил во мне не человека, не честь мою, а чувство дружбы. В той страшной истории, которая едва не погубила всю мою семью и оставила после себя раны, не зажившие еще до сих пор, он ровно ничего не понял сердцем.

„Презренный человек, на которого я указал Сазонову, как на труса и клеветника, писал—и я читал это своими собственными глазами,—что Сазонов—единственный человек, который понял эту историю.

„Оставаться в близких отношениях с человеком, заслужившим эту похвалу, было для меня немыслимо тем более, что в письмах ко мне я видел очень хорошо, как поверхностно Сазонов отнесся к истории, где речь шла о жизни и смерти, чести или позоре, оправдании или осуждении женщины.

„Она умерла. Я написал Сазонову: „между нами гроб“— и просил его оставить меня в покое.

---

[1]) Письмо это найдено мною в переписке Гесса вместе с письмами Сазонова. Оно принадлежит теперь архиву немецкой социал-демократической армии.

„С тех пор я имел случай оказать ему очень большую услугу. Враги его распространили о нем в Лондоне очень дурные слухи. Я **заставил их замолчать** [1]).

„Что касается финансовой стороны вопроса, то я думаю, что она должна быть покончена вместе с другими отношениями. Я никогда не брал на себя обязанности быть поставщиком своих друзей, и тем более странно было бы это при наших отношениях.

„Господин Сазонов тратит много, работает мало. Он мне должен около 6.000 франков. Да маленькая сумма вряд ли ему поможет. И, конечно, если бы он нуждался в таковой, то вы при ваших средствах не оставили бы его без помощи.

„Я, между прочим, веду здесь активную жизнь. Я организовал русскую типографию, издал четыре брошюры и целый том, я работал в газетах—и думаю, что все это было не без пользы. Но это потребовало от меня больших расходов, так как типография от матриц до рабочих содержится за мой счет.

„Головин—а он, наверное, не талантливее Сазонова—продал здесь в течение последнего года на 4.000 франков различных статей и манускриптов.

„Почему вы сами не постараетесь найти какую-нибудь работу для Сазонова?

„Мне помнится, вы мне еще в Ниццу писали, что вы должны мне маленькую сумму и предложили даже выдать на вас вексель. Я предоставляю эти деньги в ваше полное распоряжение—с условием, чтобы вы не упоминали обо мне. Вообще, дорогой гражданин, это письмо предназначается только для вас. Весь ваш **Герцен**“.

Явные намеки в этом письме на „средства“ Гесса, который яко бы не желает помочь Сазонову, безусловно несправедливы. Сын очень состоятельных родителей, Гесс давно порвал с ними и перебивался журнальной работой. Все, что было в его силах, он уже для Сазонова сделал, и это под-

---

[1]) В своих воспоминаниях о Сазонове Герцен не упоминает об этом инциденте. Речь идет, вероятно, о полемике в „Morning Advertiser“, где Герцен защищал яко бы против Карла Маркса на самом же деле против Френиса Маркса, Бакунина и других русских революционеров. См. **Riasanoff**, „Marx als Verläumder“. „Neue Seit, 1910“.

тверждается письмами последнего. Не подлежит никакому сомнению, что он писал Герцену без ведома Сазонова. Возможно, что он сообщил Сазонову о новом предприятии Герцена и об основании русской типографии в Лондоне. Но узнал ли Сазонов об этом другим путем, так или иначе между Герценом и им произошло примирение, и с 1854 года начинается сотрудничество Сазонова в „Вольной русской книгопечатне".

Началась крымская война. Кроме Энгельсона, Герцен не имел никаких сотрудников, и помощь Сазонова могла быть ему только желательной. Первым опытом явилась прокламация: „Родной голос на чужбине. Русским пленным во Франции", датированная 12/24 октября 1854 г. Она несколько более удачна, чем прокламации Энгельсона с их подделкой под народную речь, хотя и спабжена религиозными иллюстрациями, производящими иногда очень странное впечатление в устах „вольтерьянца".

Сазонов обращается к офицерам и солдатам бомарзундского гарнизона, попавшим после сдачи Бомарзунда во Францию. Тоскующим и скучающим по родине пленникам он рисует контраст между „вольной Францией" и рабской Россией и рассказывает, как в 1789 г. французы добились воли для крестьян и отмены палки для солдат. Он об'ясняет дальше, почему во Франции так сильны симпатии к полякам. „Свергнуть иго немецкого правительства", дать всем крестьянам вольность и землю и восстановить независимость поляков—вот, по его мнению, главные задачи, которые стоят пред русскими [1]).

Но участие Сазонова в изданиях Герцена не ограничилось только этой прокламацией. Уже в первой книжке „Полярной Звезды" Искандер сообщает читателям, что „нам обещана статья: „О месте России на всемирной выставке; зная автора, мы ждем ее с нетерпением" [2]). Статья эта была напечатана во второй книжке. Сказав несколько слов о русской промышленности и месте, занимаемом ею в Европе, Сазонов набрасывает затем крупными штрихами картину исторического

---

1) Один из пленных бомарзундских офицеров, И. Г. Жуков, был после деятельным членом „Земли и Воли" и поплатился многолетней каторгой. Умер 30 сентября 1911 г.

2) „Полярная Звезда", том первый, стр. 232.

развития России и характеризует ее положение и роль в общем концерте всемирной цивилизации.

Современное западно-европейское общество может быть, по его мнению, характеризовано, как деспотизм безответственной собственности, ограниченной лотереей. Другая черта, отличающая западную цивилизацию, это—самодовольствие. Буржуазия создала, по образу и подобию своему, прессу, по наружности свободную, но на самом деле порабощенную нисколько не менее, чем в государствах деспотических, и, наконец, образовала так-называемое общественное мнение, которое прямо или косвенно, но вполне зависит от правительства и от капиталистов. Униженнее и подлее общественного мнения в буржуазной Европе не существовало никогда ничего в мире.

Россия в области цивилизации нисколько не разнится от Западной Европы, и отстала в промышленности только потому, что промышленность теперь находится в эпохе буржуазной, а в России буржуазии нет. Главными причинами этого является прежде всего иное устройство собственности и другие понятия о справедливости. Господство общинной собственности мешало западной юриспруденции пустить у нас корни. А без этой юриспруденции буржуазия нигде существовать не може . У нас этого ничего нет, да и быть не может, следовательно, и промышленность в современном ее развитии сделается для нас только тогда доступной, когда выйдет из буржуазной опеки.

После этих, далеко не марксистских, рассуждений Сазонов набрасывает очерк развития русской цивилизации. Господствующий ее характер — последовательность, разумная и страстная разом, в которой общественный фатализм участвовал столько же, как и личная свобода. Татарское нашествие разрывает связь русской истории с общеславянской, но в истории Москвы особенно ярко проявляется „характеристическая черта русского национального характера — упругость, которую можно сравнить с геройским постоянством европейского племени". Большую роль, по его мнению, в деле сохранения „национального лица" сыграла славянская Библия, которая „была залогом нашей народности". На ряду с упругостью Сазонов называет разумность, то-есть преобладание во всех важных случаях на-

родной жизни рассуждения над увлечением, расчета над страстью. Эту разумность, доходящую иногда до геройства, иногда до цинической расчетливости, он видит во всей политике Москвы и в том, что Россия выбрала себе учителем не Францию, не Англию, а Голландию.

Но за разумностью следует еще качество, на первый взгляд ей противоположное, „не-стойкость", которое в отличие от Чаадаева, „человека необыкновенно умного, но считавшего пороком то, что мы считаем добродетелью", Сазонов считает силой России, обеспечившей для нее возможность самобытной деятельности, которая исчезла бы, если бы мы усвоили себе ту или другую систему преданий из существовавших на Западе в XVII ст., то-есть подчинились бы католическому единству или присоединились бы к протестантизму.

Из этой „движимости" русского характера в новое время вытекает другое свойство, с ней сродное, именно: возможность, желание и талант над собой самими смеяться. Вместо западного самодовольства в России господствует самоосмеяние. В виде примера Сазонов приводит: „Недоросля" Фонвизина, „Ябеду" Капниста, „Горе от ума" Грибоедова, „Ревизора" Гоголя, „Свои люди — сочтемся" Островского.

Но почему же соединение таких основательных и блестящих свойств не породило оригинальных, деятельных личностей и той умственной производительности, которая могла бы завоевать себе место в истории развития европейского человечества?

На этот вопрос Сазонов отвечает, что в замечательных личностях недостатка в России нет, но они или находятся в сфере официальной и поглощены там огромностью однообразия и немотой правительственного организма или проявляют дух, неприязненный правительству, и гибнут, не развившись. Остаются одни только литературные личности, которые могут в известной степени достигать и действительно достигают иногда полного цвета — Пушкин, Лермонтов, Гоголь.

Сазонов указывает и на другие причины, мешающие развитию замечательных личностей. Между прочим, он об'ясняет, почему „любовь занимает в жизни русских людей место, несравненно важнейшее и обширнейшее, нежели на Западе".

„Там, вследствие долгого и многообразного исторического развития, она принимает, вообще, ход правильный, наперед предвидимый и как-будто размеренный, ограничивает свое влияние одной молодостью и превращается почти в любезную болтовню. У нас силы души, не поглощенные ни страстною деятельностью партий, ни даже чувством долга и необходимостью труда, предаются с полным самозабвением любви, увлекаясь потоком того, что называют русской праздностью и русской ленью. Сколько прекрасных, сколько замечательных личностей гибнет в бурях страсти, навсегда теряя силу участия в какой бы то ни было деятельности, проводя жизнь в безвыходном унынии или предаваясь беспрестанно новой и вечно обманутой надежде отыскать однажды пригрезившийся им идеал“ [1]).

Что Россия все же в состоянии „рождать“ замечательных людей, показывает пример Чаадаева, и Сазонов дает подробную характеристику этого западника. Кончается статья следующим прогнозом:

„Все, что я говорю о России и русских, можно, пожалуй, назвать панегириком или, по крайней мере, апологией. Но я сначала об'явил, что не имею сатирического расположения. Дело не в названии. Есть ли в моей апологии истина? Вот вопрос, а в том, что я от истины не отступил, убеждает моя научная совесть.

„Мне также было бы неприятно, если бы приняли за намеренную сатиру описания некоторых частностей западного развития, которыми моя статья начинается. Я нисколько не принадлежу к ненавистникам европейского Запада. Живши долго в разных странах его, я свыкся с его нравами, уважаю и люблю великие национальности, его составляющие, особенно Францию, которую я считаю вторым отечеством.

„Франции я повторил в новом виде те укоры, которые она слыхала от любимых сынов своих; но от укоров далеко до проклятия или до приговора. Приговор я не произнесу не только Франции, матери революций, в будущности которой я

---

[1]) Ср. Милюков П. „Любовь у идеалистов тридцатых годов“ в сборнике: „Из истории русской интеллигенции“. Спб., 1903 г.

уверен, но даже ни Англии, эгоистической, но трудолюбивой, ни Германии, тяжелой на под'ем, но глубокой и решительной в убеждениях.

„Западу предстоит обновление так же, как и нам самим. Перерожденная Россия займет свое место в Европе преобразованной, и тогда примиренные народные массы не будут упрекать одна другую так, как упрекают теперь друг друга привилегированные классы различных наций. Западные европейцы перестанут считать освобожденных русских варварами, а мы не будем более мечтать о скорой гибели гниющего Запада и о всемирном господстве славянского племени.

„Для всех племен, для всех идей и для всякого труда есть на земле место. Соединим наши усилия для того, чтобы не было нигде притона, пристанища для рабства, для невежества и для лжи“.

Заключение статьи звучит, как скрытая полемика против Герцена, окончательно разочаровавшегося в „старом мире“. Оно указывает, что между Сазоновым и Герценом продолжали существовать значительные принципиальные разногласия, и что в споре между „лишними людьми“ и „желчевиками“ первый скорее принял бы сторону Чернышевского, который, несмотря на свое признание спасительной роли русской общины, резко восставал против всех, мечтавших „о скорой гибели гниющего Запада“, и в статье: „О причинах падения Рима“ подверг взгляды Герцена беспощадной критике. В отличие от Герцена Сазонов, вместе с ним переживший годы реакции после 1848 г., не изверился в способности Запада справиться самостоятельно со всеми „проклятыми вопросами“, которые ставились на очередь процессом общественной эволюции.

Возникли ли на этой почве опять какие-нибудь разногласия между Герценом и Сазоновым, убедился ли последний, все еще тесно связанный с „марксидами [1]), что он не может ра-

---

[1]) В бумагах Маркса мы нашли принадлежащий Сазонову немецкий перевод известного стихоторения: „Русский бог“, напечатанного во второй книжке „Полярной Звезды“. Но третья строфа не сходится с оригиналом даже в другом известном варианте этого стихотворения (См. Вяземский II. Полное собрание сочинений, том третий, стр. 451). Вместо „Бог пришельцев, иноземцев, перешедших наш порог, бог в особенности немцев“ сказано в обратном переводе на русский: „Бог бездомных, бог

ботать вместе с Герценом, мы не знаем, но статья, которую мы только-что изложили, является последней статьею Сазонова, напечатанной в издании „Вольной русской книгопечатни“. На этот раз они разошлись навсегда.

Вообще, с 1854 г. Сазонов опять начинает более усердно заниматься литературной деятельностью. Вероятно, обострение отношений между Францией и Россией дало ему возможность вернуться в Париж. Он издает анонимно книгу, посвященную Николаю, „Правда об императоре Николае“, которая очень выгодно отличается от наполнявших тогда книжный рынок сочинений о России [1]).

В 1855 г. Сазонов становится одним из редакторов лучшего тогда критического обозрения „L'Athenaeum Français“, ставившего себе те же задачи, что английский „Athenaeum“ [2]). Он пишет, между прочим, о „русских и немецких народных сказках“, о „чешской литературе“, о „русских патронимических именах“ и т. д. и помещает там множество критических статей, подписанных то собственным именем, то псевдонимом К. Штахеля (K. Stachel).

С прекращением этого журнала мы опять теряем Сазонова из виду. Мы знаем только, что в 1858 г. он хлопотал о возвращении в Россию. Вероятно, это разрешение было ему выдано на таких условиях, что он предпочел не воспользоваться „милостью“. Коммунист для Западной Европы, крайний „западник“, Сазонов к этому времени превратился в убежденного „конституционалиста“ для России. Он становится „реальным политиком“ и сближается с либеральными элементами русского дворянства в Париже. В 1859 г. он является уже главным редактором международного обозрения, выходившего на французском языке—

бродяг, осаждающих наш порог, бог всех выброшенных на чужбину“. Сделано ли это смягчение, чтобы пощадить „немецкий патриотизм“ Маркса, или существовал еще третий вариант, нам неизвестный?

1) „La verité sur l'empereur Nicolas. Histoire intime de sa vie et de son règne par un russe“. Paris, 1854. Ее упоминает проф. Е. Тарле в статье: „Самодержавие Николая I и французское общественное мнение“; „Былое“, 1906 г. октябрь, стр. 155—56. Но авторство Сазонова, на которое указывает в своих „Lettres slaves“ Островский, осталось ему неизвестным. См. также Бурцев. В. „За сто лет“. Второй отдел, стр. 37.

2) „L'Athenaeum français. Revue universelle de la litterature, de la science et des beaux arts“. Последний номер вышел 26 июля 1855 г.

„La Gazette du Nord“ — и ставившего себе целью знакомить европейцев с жизнью северо-европейских стран (России и Скандинавии). Издателем журнала являлся некий Gabriel de Rumine (Гавриил Рюмин).

Сазонов напечатал в этом журнале ряд статей об освобождении крестьян, в которых он подчеркивает необходимость для России избежать „пролетариата, этой зияющей язвы современных обществ“, и доказывает, что, если „нам удастся организовать свободный народ, среди которого не будет пролетариев, то нам будут прощены все наши грехи“ [1]). Он посвящает также подробную статью положению евреев в России и высказывается за полное равноправие их [2]). Кроме того, он написал несколько статей, в которых знакомил иностранцев с русской литературой, в том числе, очень интересную статью о Герцене, цитированную нами выше.

В этом журнале, в корреспонденции из Петербурга от 25 апреля 1860 г., мы встречаем совершенно неожиданно имя Маркса [3]). Говоря о лекциях Молинари, петербургский корреспондент замечает: „Вряд ли этот брюссельский писатель сам считает себя очень сильным в области политической экономии, науки, которая насчитывает теперь среди своих представителей таких оригинальных исследователей, как Карл Маркс, Стюарт Милль, Кэри, Прудон и др.“. Мы видим, что „Критика политической экономии“ имела уже читателей в России чрез несколько месяцев после ее появления.

Несмотря на связи Рюмина [4]), несмотря на то, что в журнале подчеркнута была „великодушная инициатива“ нового русского „Галилеянина“, старому революционеру пришлось натолкнуться на очень неприятное отношение к нему некоторых „русских аристократов“, за которыми стояло русское посольство. Сазонов не прерывал сношений с европейской эмиграцией и вместе с „марксидами“ — Кугельманом, Гессом, Шили — организовал,

---

[1]) „Gazette du Nord“, 1859 г. 3, 10 и 17 декабря; 1860 г. 21 и 28 янв., 18 февраля и 3 марта.

[2]) „Gazette du Nord“, 1860 г. 7 апреля.

[3]) „Gazette du Nord“, 1860 г. 5 мая.

[4]) В журнале принимал участие и Жеребцов, которому Добролюбов посвятил свою известную статью („Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым“).

между прочим, празднество по поводу столетия со дня рождения Шиллера [1]). Участие Сазонова в вечере, устроенном русской колонией, вызвало скандал. В написанной по этому поводу статье Сазонов доказывает, что он предпочитает Александра Второго Иоанну Грозному, и что, если это значит быть революционером, то он действительно революционер. Действовали ли тут какие-нибудь посторонние влияния, напугавшие Рюмина, или нет, но журнал прекратился уже к 1860 г.

К этому времени относится последнее известное нам письмо Сазонова к Марксу. В 1859 г. известный натуралист Карл Фогт выступил против „марксидов“ и в особенности против их шефа, Карла Маркса, с целым рядом обвинений, гнусность которых могла конкурировать только с их нелепостью. Маркс ответил блестящим памфлетом: „Господин Фогт“, где доказал всю никчемность обвинений взбеленившегося профессора и его тесные связи с Наполеоном. Именно в этом памфлете мы находим письмо не названного Марксом „известного русского писателя“ [2]):

„Мой дорогой Маркс!

„С крайним негодованием узнал я о клеветах, распространяемых на ваш счет и опубликованных в статье Эдуарда Симона в „Revue Contemporaine“. Что меня в особенности удивило, так это то, что Фогт, которого я не считал ни дураком, ни негодяем, в состоянии был так низко пасть, как это свидетельствует его брошюра. Мне не нужно было никаких доказательств, чтобы быть уверенным, что вы не способны на низкие и грязные интриги, и мне было тем более неприятно читать все эти инсинуации, что как-раз в то время, когда их печатали, вы дали ученому миру первую часть прекрасного труда, который должен реформировать экономическую науку и поставить ее на новые и более солидные основы... Мой дорогой Маркс, не обращайте внимания на все эти низости; все серьезные и честные люди за вас, но они ждут от вас чего-нибудь другого, чем эта бесплодная полемика: им хотелось бы иметь поскорее

---

[1]) „Gazette du Nord“, 1859 г. 12 и 19 ноября.

[2]) Karl Marx, „Herr Vogt“. London, 1869, стр. 8—9. К сожалению, нам не удалось найти в бумагах Маркса оригинал этого письма, но все его содержание показывает, что автором его является Сазонов.

окончание вашего прекрасного труда. Ваш успех колоссален среди мыслящих людей, и, если вам приятно будет узнать, какое впечатление произвели ваши доктрины в России, то я скажу вам, что в начале этого года профессор... читал в Москве публичный курс по политической экономии, и первая лекция его была перефразом вашего последнего труда [1]). Вместе с этим письмом я посылаю вам номер „Gazette du Nord“, из которого вы можете видеть, с каким уважением относятся к вам в моей стране [2]). Прощайте, дорогой Маркс, берегите свое здоровье и работайте, как и прежде, для просвещения мира, не обращая внимания на мелкие глупости и мелкие мерзости. Верьте дружбе преданного вам“...

В 1860 или 1861 г. Сазонов опять покидает Париж, на этот раз навсегда. Он переехал в Женеву, откуда, как раньше из Парижа, он корреспондировал также в русские журналы. Статьи его под именем Штахеля печатались в „Отечественных Записках“ и „Петербургских Ведомостях“. Известный библиограф Геннади упоминает также о корреспонденциях, которые Сазонов писал в „Наше Время“ под именем Θеопотала [3]).

В Женеве Сазонов опять сблизился с Иоанном-Филиппом Беккером. В бумагах этого заслуженного ветерана европейской революции, которому пришлось еще двадцать лет спустя в той же самой Женеве познакомиться с основателями русской социал-демократии, я нашел записку, составленную Сазоновым (в апреле 1862 г.), по всей вероятности, для его немецких друзей. Она должна была выяснить значение крестьянской реформы и роль „интеллигенции“, для которой Сазонов нашел подходящее имя в словаре XVIII века.

„В последнее время, — пишет Сазонов, — в России замечается моральное и материальное движение, достойное внимания всякого серьезного наблюдателя. Освобождение крестьян, которое давно уже подготовлялось и требовалось общественным

---

[1]) Мне не удалось проверить это показание.

[2]) Сазонов говорит о выше цитированной корреспонденции из Петербурга.

[3]) Геннади, Г. „Краткие сведения о русских писателях и ученых, умерших в 1860—62 гг.“. „Русский Архив“, 1864 г., стр. 1099.

мнением, но задерживалось вследствие нелепого упрямства . . . .,в настоящее время представляет совершившійся факт. Это—полный экономический переворот в самих основах русского общества. До настоящего времени одна половина земельной площади принадлежала государству, а другая—сотне тысяч дворянских семейств. Начиная со следующего года, 40.000.000 собственников будут делить эту собственность с государством и дворянами. Вся всемирная история не знает другого примера такой колоссальной экономической революции. 1789 год оставлен совершенно в тени. Вполне понятно, что она повлечет за собой самые серьезные последствия, ибо история учит нас, что экономические изменения необходимо сопровождаются изменениями политическими и социальными. Русское дворянство в последних своих собраниях в губерниях Тверской, Московской, Петербургской проделало свою ночь 4 августа и потребовало отмены всех классовых привилегий и созыва национального представительства, выбранного всей нацией.

„В России образовалась группа людей, число которых растет с каждым днем. Ни по своим интересам, ни по своим убеждениям они не принадлежат к определенному классу и скорее представляют и защищают со страстью и энтузиазмом общие тенденции современной цивилизации. Это то, что во Франции в XVIII веке называли die Aufklärungspartei (партией просвещения) и что теперь существует только в России.

„Будущее этой страны отныне может считаться завоеванным для прогресса, и этот прогресс ляжет огромным весом на весы судеб человечества. Можно опасаться только, чтобы будущее, о котором мы говорим, не было скомпрометтировано, с одной стороны, невежеством народных масс, а с другой, легкомыслием и утопическими тенденциями дворян. Во всяком случае, раньше или позже, свобода, если только ее сумеют сохранить, восстановит равновесие“.

Записка эта является духовным завещанием талантливого неудачника, одного из оригинальнейших представителей русской интеллигенции. В том же году, 5 ноября 1862 г., Сазонов умер.

VI.

Переходим теперь к другому „русскому аристократу“, на этот раз совершенно иного калибра. В русской колонии Парижа были уже и тогда самые разнообразные элементы. Бок о бок с людьми, хотя и безалаберно подчас, но искренне искавшими ответа на всякие „проклятые вопросы“, мы находим Репетиловых и Загорецких, встречаем также всякого рода „сотрудников“ и „осветителей“.

„Не должно думать“,—пишет Анненков,—чтобы эта азартная игра со всем содержанием Парижа велась только людьми, литературно и политически развитыми: к ней примешивались часто и такие особы, которые имели совсем иные цели в жизни,— не культурные. Так, по дороге в Европу, я получил рекомендательное письмо к известному Марксу от нашего степного помещика, также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника. Он находился, как оказалось, в самых дружеских отношениях с учителем Лассаля и будущим главой интернационального общества; он уверил Маркса, что, предавшись душой и телом его лучезарной проповеди и делу водворения экономического порядка (sic!) в Европе, он едет обратно в Россию, с намерением продать все свое имение и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции. Далее этого увлечение пойти не могло, но я убежден, что, когда лихой помещик давал все эти обещания, он был в ту минуту искренен. Возвратившись же на родину, сперва в свои имения, а затем в Москву, он забыл и думать о горячих словах, прозвеневших некогда так эффектно пред изумленным Марксом, и умер не так давно престарелым, но еще пылким холостяком в Москве. Немудрено, однакоже, что после подобных проделок как у самого Маркса, так и у многих других сложилось и долгое время длилось убеждение, что на всякого русского, к ним приходящего, прежде всего должно смотреть, как на подосланного шпиона, или как на безсовест-

ного обманщика. А дело между тем гораздо проще об'ясняется, хотя от этого и не становится невиннее!“ [1])

Вот все, что сообщает нам Анненков о „лихом помещике“, который так ловко надул доверчивого Маркса. Из всего этого повествования явствует, что, если Анненков и воспользовался рекомендательным письмом пылкого прозелита „будущего главы интернационального общества“, то он все же и тогда уже очень хорошо знал, с кем имеет дело. Конечно, воспоминания Анненкова писаны были чуть ли не тридцать лет спустя после описываемых событий, и не удивительно, что он мог легко спутать и лица и имена. Но уже в самом рассказе чувствуется какой-то странный скачок от „лихого помещика“ к „подосланным шпионам“ или „безсовестным обманщикам“. И возникает вопрос, не был ли этот „лихой помещик“ в „близких дружеских отношениях“ и с самим Анненковым? А если это действительно так, то чем об'ясняется тенденция Анненкова валить с больной головы на здоровую? Кое-какой свет на этот вопрос бросает то самое письмо, которое обеспечило Анненкову хороший прием у „учителя Лассаля“. Я нашел его совершенно случайно в бумагах Маркса. Оно написано по французски, и я даю его в русском переводе.

Мой дорогой друг.

Я рекомендую Вам г-на Анненкова. Это—человек, который должен понравиться Вам во всех отношениях. Его достаточно увидеть, чтобы полюбить (il suffit de le voir pour l'aimer).

Он Вам сообщит новости обо мне. Я не имею теперь возможности высказать Вам все, что хотел бы, так как чрез несколько минут я уезжаю в Петербург.

Будьте уверены, что дружба, которую я питаю к Вам, вполне искренна. Прощайте, не забывайте Вашего истинного друга

Толстого.

На письме нет ни даты, ни адреса. Но оно, несомненно писано в начале 1846 г. В ноябре 1845 г. Анненков, как

---

[1]) Анненков Н. В., Литературные воспоминания и критическ. статьи. Спб. 1881 сс. 155—56.

это видно из его письма к Герцену, был еще в Петербурге, хотя уже собирался в Париж [1]). А он сам рассказывает, что письмо получил по дороге в Европу. Встретился ли он с Толстым в Берлине или в другом германском городе, теперь нет никакой возможности установить. Но из текста письма во всяком случае видно, какие нежные чувства питал к Анненкову наш „лихой помещик", alias Толстой.

Кто же был этот загадочный Толстой, имя которого Анненков не считал нужным назвать, хотя он уже был тогда покойником?

Не подлежит никакому сомнению, что это—тот самый Толстой, о котором Маркс пишет из Брюсселя Гервегу в письме от 26 октября 1847 г. [2]):

„Я хотел тебя еще спросить, не можешь ли ты узнать у Бакунина, каким путем, каким образом и каким способом я могу доставить письмо Толстому?"

Издатель писем к Гервегу, со свойственной ему скоропалительностью, указывает в примечании, что это „граф Лев Толстой—известный русский романист". Но автору „Войны и Мира" было тогда едва 17 лет, и он находился в это время в Казани. В 1847 г. он „по расстроенному здоровью" оставил университет и переехал в Ясную Поляну, где и пробыл до 1851 г. За границу он в первый раз выехал в 1857 г.

Из писем Маркса вытекает, что с этим Толстым связан был тесно Бакунин. Мы имеем еще одно показание, где оба эти имени называются вместе. Карл Грюн, один из главных представителей немецкого „истинного социализма", сейчас же после смерти Бакунина опубликовал свои воспоминания о нем.

„Мы встречались, пишет он, не особенно часто. Это об'яснялось преимущественно тем, что мы вели прямо противоположный образ жизни. Бакунин и другие русские, из которых я помню еще только какого-то графа Толстого, в сущности, ничем не занимались, кроме чтения газет.

---

1) Из переписки недавних деятелей. Русская Мысль, 1892 г. Июль, с. 100.

2) Briefe von mich an Georg Herwegh. Herausgegeben von Marcel Herwegh München 1896, S. 89.

Они обращали ночь в день, и день в ночь и вставали обыкновенно не раньше 12 часов, а обедали только в шесть. Пробыв в кафэ до 3, 4 или 5 часов утра, они отправлялись на покой, чтобы на другой день вновь начать эту адскую жизнь“ [1]).

Неттлау, біограф Бакунина, с своей стороны думает, что это—граф Д. Толстой, бывший от 1866 до 1880 г. министром народного просвещения и от 1882 до 1889 г. министром внутренних дел. Но и это предложение не выдерживает критики. Будущий министр родился в 1823 г. и в 1843 г., по окончании курса в Царскосельском лицее, поступил на службу в канцелярию Государыни Императрицы.

Неттлау ссылается на заметку в „Колоколе“ по поводу назначения Д. Толстого министром народного просвещения, в которой якобы сказано, что он был учеником Бакунина. Но Неттлау не понял русского текста. Заметка Герцена озаглавлена „Катков и Государь“. В ней имеется следующий апостроф по адресу Толстого: „Граф Толстой, вы эксперт и знаток по этой части, это ваша специальность... Как вы насчет искренности обращения стараго гегелиста, старого шеллингиста, расцветшего в зловредном обществе Белинского и Бакунина?“ [2]) Ясно, что речь идет именно о Каткове, а не о Толстом, как ученике Белинского и Бакунина. Если у Анненкова могли быть какие-нибудь основания не называть своего старого друга, рекомендовавшего его Марксу в таких восторженных выражениях, то ни Герцену, ни Бакунину не приходилось церемониться с графом Толстым. А, между тем, они нигде не упоминают о его причастности к их старому кружку.

Но был еще один граф Толстой, о котором упоминает и Анненков. Как и граф Д. А. Толстой, он тоже занимал после крупный административный пост. „Проезжая через Париж в 1846 г.,—пишет Анненков в своих воспоминаниях о Гоголе,—я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. Толстого (впоследствии обер-прокурора Синода), в отеле улицы de la

---

[1]) Karl Grün. Michel Bakunin, Die Wage 18 August 1876. S. 498.
[2]) „Колокол“, № 225, 1 августа 1866 г. с. 1841.

Paix [1]). Этот Толстой обер-прокурорствовал от 1852 до 1862 г. Но и он не мог быть нашим Толстым. В начале сороковых годов это был вполне сложившийся человек, крайний аскет, один из трех главных адресатов в переписке Гоголя с друзьями, видевший вещи „не с европейской запосчивой высоты, а прямо с русской здравой середины“ [2]).

Итак, ни Лев Толстой, ни Д. Толстой, ни А. Толстой не могли писать выше приведенное письмо Марксу. Этим Толстым, по нашему предположению, мог быть только другой член тогдашней русской колонии Парижа—Яков Николаевич Толстой, друг Пушкина и Грибоедова, один из первых русских революционеров и эмигрантов, а затем один из первых русских... ренегатов и шпионов, предшественник Рачковского и Гартинга на дипломатическо-полицейской службе в Париже.

Старший из трех сыновей богатого тверского помещика, Осташковского уездного предводителя дворянства, Яков Николаевич Толстой родился в 1791 г. [3]). Воспитывался он в Пажеском корпусе. Пробыв короткое время на военной службе, он вышел в отставку, но, с началом отечественной войны, он опять вступил в ряды армии и принял участие в походах 1812—14 гг. В 1817 г. он был назначен старшим ад'ютантом к А. А. Закревскому, тогда дежурному генералу главного штаба, а после прославившемуся на посту московского генерал-губернатора своей энергичной борьбой с язвой просвещения и вольномыслия.

Вероятно, уже в 1818 г. Толстой сделался членом „Союза Благоденствия“ и принимал деятельное участие в организованном членами этого союза обществе „Зеленой Лампы“. Одно время он даже был его президентом. В кружке, собиравшемся у его основателя, Никиты Всеволожского, а после и у Толстого, мы встречаем Каверина, Трубецкого, Улыбышева, Энгельгардта, по другим известиям и Гнедича. Одним из самых прилежных членов его был Пушкин, который именно тогда близко

[1]) Анненков, П. В., „Литературные воспоминания“. Спб. 1909, стр. 66 или „Воспоминания и критические очерки“. Том первый. 1877, стр. 236.

[2]) Шенрок, В. И. „Материалы для биографии Гоголя“. Том четвертый. Москва. 1897, стр. 308, 457, 570, 596—611.

[3]) Модзалевский, Б., „Я. Н. Толстой“. „Русская Старина“, 1899 г. Сентябрь, стр. 587—614 и октябрь, стр. 175—199.

сошелся с Толстым. За бутылкой вина и вперемежку с рассказами о различных похождениях молодые люди занимались и более серьезным делом. Дебатировались вопросы дня, обменивались мыслями, делились плодами чтения. Это был как вспоминал после в одном из своих посланий Толстому Пушкин,

Приют гостеприимный:
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство;
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна.
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина.

„Наиболее ясный намек на оппозиционный элемент в собраниях „Зеленой Лампы" (хотя и не упоминая о ней)—по мнению г. В. Семеновского [1])—делает Пушкин в послании к одному из его товарищей по этому кружку, В. В. Энгельгардту; в конце послания (1819 г.) Пушкин говорит:

„С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
На счет глупца, вельможи злого,
На счет холопа записного,
На счет небесного царя,
А иногда на счет земного".

Полиция напала на след этого тайного общества после истории в Семеновском полку. Но оно уже начало распадаться в 1819 г. „Минутные друзья минутной молодости" расбрелись в разные стороны. 24 октября 1819 г. Пушкин писал П. Б. Мансурову: „Tolstoy болен... „Зеленая Лампа" нагорела, кажется, гаснет, а жаль: масло есть... Но говори мне о себе, о военных поселениях.—Это все мне нужно, потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм" [2]).

---

[1]) Семевский, В. И. „Политические и общественные идеи декабристов". Спб. 1909 г. стр. 437—8.

[2]) У Семевского слова „Tolstoy болен" опущены, а между тем они указывают, какую большую роль играл он в этом кружке.

Толстой скоро углубился в научные занятия и начал штудировать философию. На это намекают и обращенные к нему „Стансы“ Пушкина:

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладной укоризны.
Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял.
И на лампаду Эпиктета—
Златой Горациев фиал.
Поверь, мой друг: она придет
Пора унылых сожалений.
Холодной истины, забот
И бесполезных размышлений.
Зевес, балуя смертных чад,
Всем возрастам дает игрушки;
Над сединами не гремят
Безумства резвые гремушки.
Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье,
И легкокрылую любовь
И легкокрылое похмелье!
До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен,
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

В 1820 г. Толстой, вместе с князем Евг. Оболенским, образовал тайное общество в Измайловском полку. С закрытием „Зеленой Лампы“, его литературные связи не только не прекращаются, но еще более крепнут и расширяются. Он рискует даже выступить на литературное поприще и дебютирует сборником стихотворений под названием: „Мое праздное время или собрание некоторых стихотворений Якова Толстого“. Образцы, приводимые г. Модзалевским, подтверждают его вывод, что „стихотворная деятельность Толстого не выходила из рядов скромной посредственности“.

В апреле 1823 г. Толстой уезжает за границу для излечения какой-то болезни ног. Он устроился в Париже, но не прерывал сношений с декабристами, как об этом свидетель-

ствует адресованное ему письмо А. Бестужева (Марлинского), в котором последний сообщает целый ряд литературных и политических новостей, между прочим и об издании „Полярной Звезды“ [1]).

В Париже наш „философ ранний“ быстро сбросил с себя оковы „грусти и скуки“. После 14 декабря 1825 г. ему так же, как и Николаю Тургеневу, трудно было вернуться в Россию. Имена их упоминались в откровенных показаниях некоторых декабристов. Так Семенов показал, что именно Николай Тургенев привлек Толстого в тайное общество [2]). И вместе с И. Тургеневым он предпочел остаться за границей.

На первых порах он пытался выдержать характер, но нужда — он скоро запутался в долгах—заставила его пойти в Каноссу. Попытка оправдаться во взводимых на него обвинениях ни к чему не привела. А в ответ на просьбу о помиловании он получил суровый приказ вернуться без всяких промедлений на родину. Вполне основательно не доверяя николаевской „Фемиде“, которая тогда слепо и свирепо разилправого и виноватого, он остался в Париже, но благоразумно мотивировал свой отказ невозможностью уехать от своих кредиторов. Ему нужна была не только „гарантия“, но и „субсидия“.

С этого времени, в течение десятилетий, терзаемый „унылыми сожалениями“, Толстой старается пристроиться во французской печати „генеральным консулом по русской литературе“, как назвал его старый друг его, князь П. Вяземский [3]), Он пишет ряд опровержений, направленных против авторов, писавших о России. С помощью того же Вяземского он находит работу в русских журналах. Но литературный заработок его был слишком недостаточен. Долги росли, и Толстой, решив добиться казенной субсидии, из кожи лезет, чтобы доказать русскому правительству, что он—верный „патриот своего отечества“ и не за страх, а за совесть. Он берет на себя

---

[1]) А. Бестужев. Письмо от 3 марта 1824. „Русская Старина“. 1889 г. Ноябрь, сс. 275—7.

[2]) И. И. Тургенев в своем оправдании. „Русская Старина“. 1901 г. октябрь, : . 208.

[3]) Вяземский. Полное собрание сочинений. Том I, сс. 245—259. Статья по поводу одной французской брошюры Толстого.

комиссию защищать не русский народ, а „Россию“ во французской прессе. „Как видно из его писем, он посылал свои сочинения в Россию, старался распространять их среди сильных мира сего, хлопотал о том, чтобы государю стала известна его ревностная деятельность во славу России“.

Его пылкая защита подвигов русской армии в 1828 г., наконец, обратила на него благосклонное внимание „сфер“. Но он опять „пересолил“ в одной брошюре, направленной против султана Махмуда. Он плохо уловил настроение „сфер“ и в „субсидии“ ему продолжали отказывать. Долги его быстро росли, и к 1830 г. он уже задолжал своим кредиторам свыше 29.000 франков. Наконец, в 1835 г. ему улыбнулась фортуна. Брат фельдмаршала Паскевича обратился к нему с просьбой написать биографию покорителя Варшавы. Работу эту он выполнил так удачно, что „отец командир“ сделался отныне его покровителем. В августе 1836 г. Бенкендорф вызвал его в Петербург, при чем, по приказу Николая, ему выдали 10.000 руб. в Париже на уплату долгов. В январе 1837 г. он уже был в России, а 29 января 1837 г., в тот самый день, когда друг его молодости—Пушкин—в страданиях доживал свои последние часы, граф А. Х. Бенкендорф писал С. С. Норову, бывшему в то время управляющим Министерством Народного Просвещения, следующее письмо:

„Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного гвардии штабс-капитана, Якова Толстого, назначить корреспондентом Министерства Народного Просвещения в Париже, куда он вслед за сим должен отправиться“.

Толстому назначено было жалованье в размере 3.800 р. в год, при чем,—вероятно, чтобы подчеркнуть истинный характер нового подвижника на поприще народного просвещения,—деньги эти должны были пересылаться главным казначейством в Третье отделение, а оттуда Толстому.

„Должность, которую занял Толстой с этого времени и на которой оставался почти до самой своей смерти,—пишет биограф,—была крайне загадочная и неопределенная. Так, место это не считалось служебным, а между тем он своевременно получал чины и ордена; по Министерству Народного Просвещения он не состоял на службе, однако был с ним

в постоянных сношениях, и дело об его определении сохранилось в архиве этого Министерства; в то же время он числился „по особым поручениям“ при III отделении собственной Его Величества Канцелярии и даже на службу был определен по „отношению“ графа Бенкендорфа. По словам Якова Николаевича, место его „было единственное, не определенное никакими штатами“ и создано было с целью „защищения России в журналах“ и опровержения статей, противных России. Кроме этой, так сказать, литературной стороны, на Толстом лежала еще обязанность иметь постоянные сношения как с министром народного просвещения, так и с управляющим Третьим отделением, так как оба одинаково являлись его начальниками. Сверх того, он писал в Петербург, особенно в конце каждого года, официальные депеши и сообщения, содержание которых нам неизвестно. Бывали и еще какие-то неопределенные поручения, входившие в разряд „особых“.

Почтенный биограф почему-то стесняется назвать вещь ее настоящим именем и несколько наивничает в своих стараниях „с точностью определить круг обязанностей, лежавших“ на Толстом. Тридцать серебреников, которые получал наш „философ ранний“, были вещественной мздой за „невещественные“, но в то же время довольно земные, услуги.

Мы сейчас увидим, какие „особые“ поручения выполнял Толстой. Да и сам чиновный биограф отмечает, что „служебные обязанности Толстого заставляли его быть постоянно среди людей самых разнообразных направлений, вслушиваться в их разговоры, наблюдать за ними и, тем самым, конечно, навлекать на себя подозрения; к тому же, его служебное положение не могло не сделаться известным“.

Ему, однако, долго удавалось скрывать свое настоящее положение даже от многочисленных друзей и приятелей. Тем из них, которым казалось странным совмещение должности „Correspondant du ministre de l'instruction publique“ с его радикальными взглядами, он сообщал, что не обязан писать ни о каких частных делах. Характерно, что Вяземский еще в 1875 г. как-будто ничего не подозревает о его настоящей роли. „Все русские, посещавшие Париж, находили в нем усердного и многосведущего путеводителя. Он во многом со-

вершенно опарижился, но оставался русским до сердцевины, до мозга костей своих“. Но другой приятель Толстого, В. Муханов, отмечает в своем дневнике: „При встрече с кем-либо, он скорее спрашивает, чем рассказывает сам“.

Логика его занятий превратила его из корреспондента в доносчика, из доносчика в литературного агента-провокатора. Обязанный реферировать не только о развитии французского просвещения, но и об отражении его в умах наезжавших в Париж соотечественников, Толстой, чтобы дать доказательства своей „полезности“, вынужден был не только доносить о поступках русских путешественников, но и толкать их по пути „вольномыслия“. И если Рачковским и Гартингам нужно было провоцировать террористические акты, то их предшественнику достаточно было вызывать своих соотечественников на разговоры или побуждать их к литературным актам, направленным против главных устоев николаевского режима. Иныя времена, иныя песни. Но и в старое доброе время нужно было заслужить свои серебреники.

Когда парижский приятель Толстого, князь П. В. Долгоруков, под всевдонимом графа Almagro, напечатал в 1843 г. свою книгу о русском дворянстве [1]), наш „сотрудник“ сейчас же сообщил в длинной кляузе, что „Долгоруков думает, что его книга может служить пугалом, с помощью которого он добьется всего, что только взбредет ему на ум. На замечание, что правительство, по всей вероятности, предложит ему вернуться в Россию, он ответил, что откажется выполнить такой приказ“ [2]) и т. д. и т. д. В результате доноса Долгорукову приказано было немедленно выехать в Россию. По возвращении он был арестован и сослан в Вятку.

В деле с Головиным Толстой держал себя еще гнуснее.

„Пред от'ездом моим из Петербурга, — пишет Головин в своих курьезных „Записках“, — брат мой просил Уварова, нельзя ли дать мне какое-нибудь занятие за границей. Министр ответил: „У меня только литературный один корреспондент в Париже, но я поищу какое-нибудь занятие“. Есте-

---

[1]) Notice sur les principales familles de la Russie. Paris, 1843 г.

[2]) Лемке, М. Князь П. В. Долгоруков в России. Былое, 1907 г. Февраль с. 145.

ственно было, что, приехав в Париж, я осведомился, кто этот счастливец. Толстой, говорят мне; показывают его карточку, на ней преважно стоит: „Correspondant du ministre de l'instruction publique". Я к нему с визитом.

„Я, говорит, вам скажу откровенно, что я имею обязанностью также опровергать статьи, противные России... Он прибавил: „Я напишу Уварову, а вы с своей стороны попросите" [1]).

Уваров оказался плохим конспиратором. Он забыл, для чего требовалась вывеска министерства народного просвещения, а, может-быть, и просто хотел избавиться от надоедливого просителя. „Ответ графа Уварова был, что Толстой не у него, а у графа Бенкендорфа под начальством и что он ему обо мне ничего не писал. Выходя раз вместе от князя Петра Долгорукова, Толстой меня спрашивает о решении Уварова. Я докладываю: не знаю, должен ли ему сказать, но так как он одобрил, то я и бухнул. Толстой мой почернел до волос".

И было от чего „почернеть": ему грозило не только разоблачение его настоящей роли, но и потеря доходного места. Толстой, однако, скоро нашел случай избавиться от опасного конкуррента. Когда Головин решил издать свою книгу „Дух политической экономии" по-французски, он, „для личной безопасности почел долгом отнестись к г-ну Толстому". И только получив от последнего успокоительный ответ, бедный Головин напечатал свою невинную книгу.

А в это время Толстой уже строчил новый донос:

„22 января 1843 г. Толстой писал Бенкендорфу по-французски: „Один русский, Головин, готовится издать книгу по политической экономии. Отрывки из нея он читал уже нескольким лицам, в том числе одному литератору, лично мне известному, и тот уверял меня, что это произведение заключает в себе доктрины, подрывающие наши государственные устои. Он даже привел одну фразу, приблизительно, такого содержания: „Государи неспособны сделать никакой уступки в интересах своих подданных, если она стоит им хоть малейшей жертвы, и, наоборот, охотно жертвуют благосостоя-

---

[1]) Записки Ивана Головина. Лейпциг. 1859 г. сс. 76—77.

нием тысяч своих подданных ради удовлетворения своих страстей и капризов". Этот отрывок показывает, что труд, который собирается издать Головин, в ненадлежащем духе" [1]).

Толстой знал безконечную тупость и жестокость своих работодателей. В третьем отделении поднялась суматоха. Бенкендорф немедленно доложил об этом деле Императору Николаю, и Головину послан был приказ сейчас же вернуться в Россию. Он ответил уклончиво. Новое, еще более грозное послание, на которое Головин ответил ироническим письмом.

„Правительство с трудом могло себе представить, — пишет Герцен, — чтобы у него лично хватило смелости отказаться, несмотря на приказ вернуться, и от состояния, и от родины. Отказ Головина до такой степени поразил императора, что он ответил... указом о паспортах" [2]).

Мало того, 12 декабря 1844 г. Николаем утверждено было следующее мнение государственного совета: „лишив Головина чинов и дворянства, сослать его, в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а имение его, ежели какое-либо окажется где либо собственно ему принадлежащим, взять на основании законов, в секвестр".

Этот, по выражению Герцена, „невероятный, нелепый и неслыханный" приговор государственного совета не мог, конечно, не привлечь к Головину всеобщих симпатий. Только после опубликования этого приговора Сазонов поспешил познакомиться с Головиным. К тому же времени относится его знакомство с Бакуниным, разделившим его судьбу.

А Толстой? Как наивно рассказывает сам Головин, почтенный Яков Николаевич уверял его после, что „ему от Бенкендорфа был выговор, зачем он защищал мою книгу, разве не читал предисловия". Но если Головин так-таки никогда не узнал, какую роль сыграл во всей этой истории

---

[1]) М. Лемке. Эмигрант Иван Головин. „Былое". 1907 г. Май. стр. 27. Автор, вслед за Герценом, относится беспощадно к несчастному Головину, эмигранту malgré lui, и не находит достаточно слов, чтобы посмеяться над этой жертвой николаевского режима, хотя даже у жалкого Головина было больше гражданского мужества, чем у многих других „людей сороковых годов". Мы будем еще иметь случай показать, что слова Герцена нельзя принимать и в этом случае на веру без строгой критической проверки.

[2]) Iscander, A. Du développement des idées revolutionnaires en Russie. Paris. 1851. Стр. 167. В издании 1853 г. эти страницы были выпущены.

Толстой, то все же именно он способствовал — правда, по другим причинам — разоблачению истинного характера „просветительной“ деятельности Толстого.

VII.

С Марксом Толстой, по всей вероятности, познакомился чрез посредство Бакунина. На это одинаково указывают и письма Маркса, и воспоминания Грюна. О своем земляке — Толстой был сыном Осташковского уездного предводителя дворянства и братом губернского предводителя дворянства Тверской губернии — Бакунин мог еще слышать рассказы в своей семье, так как отец его, А. М. Бакунин, принимавший участие в составлении устава Союза Благоденствия, не мог не знать Толстого [1]). А встречаться с последним Бакунин мог либо у Николая Тургенева, или в каком-нибудь салоне Сан-Жерменского предместья. По словам Арнольда Ругэ, он был там своим человеком не меньше, чем в кафе, в которых собирались революционеры и журналисты всех наций и направлений [2]). Разборчивостью в знакомствах Бакунин, правда, никогда не отличался, но настоящая роль Толстого ему, наверное, так же мало была известна, как и другим членам парижской колонии. А то обстоятельство, что Толстой был на службе, он так же мало мог ставить ему „в вину“, как и другим своим приятелям. Свою литературную деятельность, направленную на „защищение“ русского правительства, Толстой мог тем легче скрыть, что свои брошюры он писал или анонимно, или под псевдонимом Яковлева. Да если эта деятельность и была известна Бакунину, он вряд ли видел в ней — как это показывает его жизнь в Сибири — что-нибудь более несовместное с „радикализмом“, чем писание всяких „докладных записок“, состоявшими на государственной службе, его приятелями из „радикалов“.

Что Толстой был не только „отличным певцом цыганских песен“, что он мог пустить пыль в глаза даже Бакунину —

---

[1]) Корнилов А. Семейство Бакуниных. „Русская Мысль“. 1909 г. Май, стр. 23—7.

[2]) A. Ruge's Briefwechsel und Tagebuchblätter, Berlin. 1886. Band I, s. 370.

видно из свидетельств всех его современников. Не говоря уже о репутации старого декабриста и друга Пушкина, его веселость и остроумие, готовность оказать всякие услуги своим соотечественникам, большие связи в литературных салонах могли ввести в заблуждение не только Бакунина.

Знакомство Толстого с Марксом и Энгельсом могло быть только случайным следствием знакомства с Бакуниным. Но Толстой мог преследовать и другие цели, поддерживая сношения с немецкой колонией и особенно стараясь проникнуть в редакцию Vorwärts'а, который тогда напечатал ряд статей, направленных против России. Он мог узнавать интересные для третьего отделения вещи о польской эмиграции, а русское правительство интересовалось тогда ею во всяком случае не меньше, чем русской колонией [1]). И точно так же, как его коллега в Германии, Швейцер, на основах взаимности, пользовался услугами прусской полиции, так и Толстой, при посредстве Киселева, мог находиться в сношениях с прусским посольством в Париже и оказывать в свою очередь услугу „дружественной“ тогда державе.

Но „ничто не вечно под луной“. Головин, которому Толстой создал п'едестал нового „Курбского“, в конце 1845 г. опубликовал свое послание к Грозному самодержцу всея России. Книга его „La Russie sous Nicolas I“ имела большой успех и сейчас же была переведена на английский и немецкий языки. Надо принять во внимание, что это было первое изображение Николаевской России, данное не иностранцем, которого, как Кюстина, можно было обвинять в поверхностном знакомстве с Россией и плохом знании русского языка, а русским „боярином“, у которого хватило решимости не подчиниться азиатскому произволу. И если Бенкендорф, которого г. Лемке для этой оказии воскресил [2]), по словам почтенного исследователя

---

[1]) „Французское правительство никак не могло удовлетворить нескончаемые жалобы русского правительства по поводу пребывания польской эмиграции во Франции... Нескончаемые жалобы на покровительство и попустительство к полякам, наконец, надоели французскому правительству, и оно перестало принимать их во внимание“. Мартенс, Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных с иностранными державами. Том XV, ст. 201—202.

[2]) Бенкендорф умер в сентябре 1844 г., а книга Головина вышла в 1845 г. Мы констатируем этот факт только „исторической справедливости“. ради: не гоже умалять заслуги преемников Бенкендорфа пред отечеством

„николаевских жандармов“, сначала приказал Толстому „пренебречь“ и не писать возражения, то успех книги вынудил их отказаться от тактики величественного молчания“ [1]). У Я. Толстого могли быть еще другие соображения, и вряд ли он с особенной охотой взялся, наконец, за „литературное“ опровержение книги Головина, который, в своем предисловии, с трогательной наивностью сообщает, что Толстой — он настолько деликатен, что не называет своего защитника — „получил от Бенкендорфа суровый выговор за защиту его книги“ [2]).

Как только в Quotidienne появилась статья, направленная против книги Головина, последний, догадавшись, кто должен быть ее автором, ответил, как он выражается в своих „Записках“ Толстому „его анекдотом“, т.-е. по-просту указал, что критика написана по обязанности, и, назвав автора статьи, сообщил все, что знал об его отношениях к русскому правительству [3]).

Это разоблачение произвело огромную сенсацию в Париже. Обошедши все главные парижские газеты, оно перешло и в Allgemeine Zeitung.

Маркс, как мы знаем, жил тогда в Брюсселе, но Энгельс, незадолго до этого переехавший в Париж, сейчас же написал ему об этой интересной новости (18 сентября 1846 г.).

„А теперь еще одна в высшей степени любопытная история“. Augsburger Allgemeine Zeitung (21 июля 1846 г.), в корреспонденции из Парижа от 16 июля, пишет о русском посольстве в Париже: „Это — официальное посольство; но вне

---

1) Г. Лемке и в этом случае не находит достаточно сильных выражений, чтобы лишний раз уязвить злосчастного Головина. И книга никуда не годная, да и неизвестно, не приложил ли сам Головин, бронировавшийся в торжественную тогу политического эмигранта, руку и к этим переводам?! Но отзыв Герцена об этой книге — данный, правда, до ссоры с Головиным — должен был бы сделать г. Лемке несколько более осторожным. Конечно, сшитая правительством „тога политического эмигранта“ могла украшать более достойные плечи, но это обстоятельство нисколько не устраняет того факта — теперь, после статьи самого г. Лемке, вполне установленного — что Головин сделался жертвой одной из гнуснейших провокаций и что эмигрантом он сделался не только из одного чувства „страха“

2) Golowine, J. La Russie sous Nicolas I. Paris, 1845 cc. 15, 20.

3) Статья Головина напечатана была в Corsaire-Satan. К сожалению, даже в парижской Bibliotheque Nationale нет этой газеты за 1846 г., и я не мог проверить все показания Головина в его „Записках“.

его или скорее над ним стоит некий Толстой: он не занимает определенной должности, но известен, как доверенное лицо двора. Прежде чиновник в министерстве народного просвещения, он явился в Париж с литературной миссией, написал здесь несколько мемуаров для своего министерства и доставил несколько обзоров французской прессы. Затем он перестал писать, но тем больше делал.

Он живет на широкую ногу, встречается со всеми, принимает всех, занимается всем, все знает и очень многое устраивает. Мне кажется, что именно он является действительным русским посланником в Париже... Его заступничество производит чудеса (все поляки, которые просили помилования, обращались к нему), в посольстве все склоняется пред ним, и в Петербурге он пользуется большим влиянием". — Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, тот самый благородный рыцарь, навравший нам, что он хочет продать в России свои имения. Кроме квартиры, в которой он нас принимал, он имел еще блестящее помещение на Rue Mathurin, где он принимал дипломатов. Поляки и многие французы давно уже знали это, только немецкие радикалы, среди которых он считал удобным играть роль радикала, ничего не знали. Цитируемая мною статья написана одним поляком, который знает Бернайса, и сейчас же была перепечатана в Corsaire-Satan и National. Когда Толстой прочитал статью, он рассмеялся и пошутил над тем, что он, наконец, открыт. Он теперь в Лондоне и, так как роль его тут сыграна, попытает свое счастье там. Жаль, что он не вернется, иначе я сыграл бы с ним шутку, да представил бы свою визитную карточку в Rue Mathurin. Что после всего этого рекомендованный им Анненков—тоже русский шпион, c'est clair. Даже Бакунин, который должен был знать всю историю, так как другие русские знали ее, тоже очень подозрителен". И в заключение Энгельс спрашивает Маркса, не следует ли обо всем этом немедленно сообщить их друзьям в Лондоне, так как Толстой мог бы там ссылаться на свое знакомство с Марксом и компрометтировать поляков.

И все же Толстому удалось оправдаться и среди русской и среди немецкой эмиграции. У него было много друзей, а

Головину, который за два года перед этим выступил с опровержением книги Кюстина, и, как мы видели, хлопотал сам о месте корреспондента министерства народного просвещения, не особенно доверяли. На сторону Толстого стал и Бакунин, вступивший с Головиным в полемику. Мы увидели сейчас, что и Анненков также горячо заступился за своего „степного помещика“. Один лишь Сазонов решительно выступил в защиту Головина.

Только тем, что Толстому удалось оправдаться или свалить вину на другого Толстого, можно об‘яснить, что уже в письме от 15 января 1847 г. Энгельс пишет Марксу, что Бернайс (Bernays) выдумал всю историю с Толстым или позволил себя надуть Бернштейну, который, мол, заставляет его верить всему, чему угодно [1]). Тогда является понятным также и письмо Маркса к Гервегу в октябре 1847 г., цитированное выше. Бакунин продолжал быть с Толстым в хороших отношениях.

Только после февральской революции, когда в члены временного правительства попали старые друзья Маркса и Бакунина, роль Толстого была окончательно разоблачена. У него был произведен обыск, на который временное правительство могло осмелиться только потому, что он официально не был причислен к посольству [2]). В довершение беды, на него обрушился совершенно неожиданный удар с другой стороны. Бывший наш посланник в Штутгарте и Турине, Обресков, фрондировавший против правительства за недостаточное признание его заслуг и имевший зуб против Паскевича, воспользовался революцией и в „Journal des Débats“ тоже ответил биографу Паскевича „его анекдотом“ [3]).

---

[1]) Бернайс вместе с Бернштейном, корреспондентом „Allgemeine Zeitung“, издавал в Париже в течение 1844 г. упомянутый уже нами „Vorwärts“, в котором сотрудничали Бакунин, Маркс и Энгельс. В начале 1845 г. Бернштейн вынужден был прекратить газету, а некоторые сотрудники его, в том числе Маркс, были высланы. Возможно, что Бернштейн, после обрушившегося на него несчастия, сам заподозрил Толстого, который, вероятно, посещал Бакунина, жившего в редакции „Vorwärts‘a“. См. Börnstein. H. 75 Jahre in der alten und neuen Welt. Leipzig 1884. сс. 332—338.

[2]) Об этом обыске упоминает Герцен в связи с рассказом о Головине, но, не говоря ни слова об истинной роли Толстого, он прибавляет, что именно Головин навлек на последнего этот обыск. Можно подумать, что у Головина не было для этого никакого основания.

[3]) Русские достопамятные люди. „Русская Старина“. 1892. Октябрь, сс. 36—37.

„Неопределенное“ положение Толстого становилось для него опасным. Он переехал на время в Брюссель. Характерно, что он даже от себя старался скрыть действительный смысл своей деятельности. „Что касается меня—писал он брату из Парижа 6 (18) ноября 1848 г.—то я нахожусь в ожидании прочного места, которое мне было обещано; но, ожидая, я все стою на одной точке, при чем, в глазах моих соотечественников слыву за подозрительного поверенного, а в глазах некоторых французов—даже за тайного агента. Это ложное положение составляет одно из мучений моей жизни“. Сентиментальность так же характерна для шпионов, как склонность к этическим размышлениям для предателей.

Высокие покровители Толстого скоро вывели его из этого ложного положения. Как он сам подчеркивает, его депеши очень нравились, и в такое время, когда, после кровавого подавления июньского восстания, на защиту собственности, религии, семьи и общества сбежались под общее знамя „монархисты и республиканцы“, „попы и свободные мыслители, молодые потаскушки и старые монахини“, было бы безумием отказываться от человека, который обладал не только прекрасными „ушами и глазами“, но и искусным пером [1]). 29 декабря 1848 г. он был назначен советником посольства и оставался на этом посту почти до самой смерти, последовавшей 15 (27) февраля 1867 г.

Вот кто был, по нашему предположению, тот „степной помещик“, который дал Анненкову такое теплое рекомендательное письмо к Марксу. Только таким образом можно об'яснить многое в отношениях Маркса, так и, в особенности, Энгельса к русским. Уже неожиданный вывод, который Анненков делает из своего рассказа о Марксе и „степном помещике“, показывает, что в его памяти воспоминание о „певце цыганских песен“ боролось с другим воспоминанием—об агенте и шпионе. Мы увидим еще ниже, когда могла завязаться тесная дружба между Толстым и Анненковым.

---

[1]) Профессор Мартенс расхваливает депеши Н. Д. Киселева, относящиеся к этому времени (Мартенс Θ. I. XV сс. 223—35). К сожалению, они напечатаны только в отрывках Несомненно, что автором их является не бездарный брат „либерального“ царедворца, а Толстой.

Уже в приведенном выше письме Энгельс сейчас же умозаключает от Толстого к Анненкову и Бакунину. Понятно, что, после окончательного разоблачения Толстого, недоверие Маркса и Энгельса к русским должно было возрасти, хотя они вовсе не видели во всяком русском „подосланного шпиона“ или „бессовестного обманщика“. Это, конечно, делало их более подозрительными и по отношению к старым друзьям Толстого и это же отчасти об'ясняет сближение с Сазоновым, который так решительно выступил сразу же против Толстого, с которым он, как самый старый член русской колонии, мог столкнуться еще раньше. Можно также с немалой долей вероятности утверждать, что в распространении слухов, компрометтирующих Бакунина, как после его высылки из Парижа, так и, в особенности, весной и летом 1848 г., принимал самое деятельное участие Толстой: он мог надеяться таким образом отвести от себя подозрения. Во всяком случае, эта гипотеза имеет за себя больше оснований, чем курьезная попытка известного анархиста, Виктора Дава, взвалить на Маркса ответственность даже за высылку Бакунина из Парижа — на том основании, что Киселев был в коротких отношениях с Вестфаленом, братом жены Маркса!

VIII.

До сих пор мы говорили об Анненкове лишь постольку, поскольку в его воспоминаниях мы находили указания, с помощью которых мы могли установить круг русских „людей сороковых годов“, так или иначе связанных с Марксом. Но в этих же воспоминаниях мы наталкиваемся на факты, свидетельствующие о близком знакомстве самого Анненкова с Марксом. И сам собою напрашивается вопрос: не принадлежал ли и Анненков к числу тех русских идейных „сластен“, восторженное „обожание“ которых запечатлелось так сильно в памяти Маркса.

Мы не будем подробно останавливаться на личности скучного критика пятидесятых годов. Биография его в общих чертах известна, и репутация его теперь уже прочно установлена. Специалист по части эстетической критики в пятидесятых годах, поклонник „искусства для искусства“, он, в разгар нашего

Sturm und Drang-периода, написал апологию „слабых людей“, вызвавшую отповедь Чернышевского, расхвалил „Взбаломученное море“ и пописывал благодушно в „Русском Вестнике“, пока не нашел нового приюта в „Вестнике Европы“ первой формации. Но если его слава литературного критика совершенно померкла, если развитие научного „пушкиноведения“ превратило его главные работы о Пушкине в груду материалов, требующих тщательной критической проверки, то за ним все еще прочно сохраняется репутация одного из лучших наших мемуаристов, основывающаяся, главным образом, на его „Замечательном десятилетии“.

А между тем, кто внимательно читал все мемуары Анненкова, тот не мог не заметить, как метко и правдиво схватил их основной характер Гоголь в одном из своих писем к Анненкову. „Много наблюдательности и точности, но точности дагерротипной... В письмах не видно, зачем написаны письма, как будто вы не задавали самому себе серьезного вопроса. У вас, как мне кажется, нет пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений“ [1]).

Действительно, в воспоминаниях и письмах Анненкова можно найти много мелочей, интересных для историка, но и только. Его характеристики, наблюдения и впечатления выдают на каждом шагу человека, который сегодня интересуется одним, а завтра другим, так же легко отказывается от своего мнения, как он его высказывает, и сегодня изливается пред Гоголем и его друзьями, чтобы завтра побежать на собрание Бакунина и его друзей. Это типичный „турист сороковых годов“, „турист-эстетик“, как удачно окрестил его в забытых теперь статьях П. Лавров.

„Надо быть в жизни, в мысли, в деятельности — туристом... Они не сидни,—избави Боже! Какая отсталость быть сиднем на какой-нибудь засиженной иве! Они смеются от всей души над этой невежественной односторонностью. Их, напротив, ничто удовлетворить не может: их природа требует передвижения с одной ноги на другую, точнее, с одного подобия

---

[1]) Из письма Гоголя 12 августа 1847 г. Анненков и его друзья. Спб. 1892, с. 501—02.

маленькой идейки на другое такое же подобие. Они об'езжают весь мир, заглядывают во все классы общества, знакомятся с биржевиками и с пролетариями, с ученым мыслителем и с завсегдатаем модного кафе на парижских бульварах, с секретарем Наполеона III и с сподвижником Гарибальди, и из всего этого изучения, из всех этих знакомств выходят довольные, веселые, розовые, без малейшей морщины на лице, без малейшей заботы в сердце, без лишнего вопроса в голове“ [1]).

Не составляют исключения и воспоминания Анненкова о „Замечательном десятилетии“. Строгий критический разбор вскроет в них много фальши, надуманного и просто выдуманного. Написанные под непосредственным впечатлением только что появившейся биографии Белинского, составленной Пыпиным, и воспоминаний Т. П. Пассек, они на каждом шагу выдают бессильные потуги человека, у которого никогда не было „пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений“, передать нам историю идейных мук и терзаний русских и западноевропейских людей сороковых годов. Вместо откровенной исповеди—старание скрыть „ошибки молодости“ и боязнь признать даже чрез тридцать лет, что и он когда-то увлекался „запрещенной религией польского дела“. В результате—неискренняя повесть о старых знакомствах, в которой на каждом шагу просвечивает безмятежное сознание своего превосходства,—конечно, превосходства „туриста“—над такими „сиднями, как Бакунин, Герцен или Маркс.

Мы уже указывали на неожиданный вывод, сделанный Анненковым из рассказа о „степном помещике“. Письмо Толстого — кто бы он ни был — показывает, что с Анненковым его связывала тесная дружба. И все же Анненков пишет о своем бывшем друге так, как будто он уже тогда насквозь видел Толстого, как будто только такой кабинетный человек, как Маркс, да к тому же и немец, мог д верчиво отнестись к нашему „отличному певцу цыганских песен“.

„Я воспользовался однакоже письмом моего пылкого помещика, который, отдавая мне его, находился в энтузиасти-

---

[1]) Турист-эстетик. Дело, 1879 г. Октябрь. с. 2—3. См. также „Русский турист сороковых годов“. Дело, 1877 г. Август. Статьи подписаны инициалами П. Э.

ческом настроении,—и был принят Марксом в Брюсселе очень дружелюбно", настолько дружелюбно, что Маркс пригласил Анненкова на совещание, которое должно было у него состояться на другой день вечером с Вильгельмом Вейтлингом.

Дальше следует часто цитировавшееся описание беседы между Марксом и Вейтлингом, свидетелем которой был Анненков. Она происходила, как видно из письма Вейтлинга к Гессу, 31 марта 1846 г. [1]). Уже одна попытка вложить, на манер Өукидида, в уста действующих лиц якобы действительно произнесенные речи, заставляет отнестись с большим недоверием к повествованию Анненкова. Особенно курьезен упрек со стороны Маркса Вейтлингу, что он своими коммунистическими проповедями привлек к себе стольких работников, лишив их мест и куска хлеба, что „Вейтлинг, видимо, хотел удержать совещание на общих местах либерального разглагольствования.

„Пораженный всем виденным и слышанным", наш новый Анахарзис плохо понимал, в чем дело, и, несмотря на уверение, что он „очень хорошо помнит даже самую форму резкого вопроса Маркса, уловил только, что Маркс настаивал на необходимости „строго-научной идеи" и возмущался „пустой и бесчестной игрой в проповедника, при которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, а с другой—допускаются только ослы, слушающие его, разинув рот". „Вот,— прибавил он, вдруг указывая на меня резким жестом,—между нами есть один русский. В его стране, Вейтлинг, ваша роль могла бы быть у места: там, действительно, только и могут удачно составляться и работать союзы между нелепыми пророками и нелепыми последователями". Анненкову тем легче было воспроизвести этот пункт беседы, что у Маркса был однородный конфликт с Бакуниным, которого также возмущало желание Маркса превращать рабочих в резонеров и портить их, как писал Анненкову Бакунин в письме от 28 декабря 1847 г. из Брюсселя [2]).

---

[1]) Kaler E. Wilhelm Weitling. Zürich, 1887, cc. 72—73.

[2]) Анненков. и его друзья Спб., 1892. В „Замечательном десятилетии" Анненков относит это письмо к октябрю и, выбросив обращение к себе, превращает его в письмо к „друзьям в Париже". Мы еще вернемся к этому письму.

Анненков скоро уехал из Брюсселя, но сношения его с Марксом не прекращались и после. „Я встретил Маркса еще — пишет он—вместе с Энгельсом в 1848 г., в Париже, куда они оба приехали тотчас после февральской революции, намереваясь изучать движение французского социализма, очутившегося теперь на просторе. Они скоро оставили свое намерение, потому что над социализмом этим господствовали всецело чисто местные, политические вопросы, и у него была уже программа, от которой он не хотел отвлекаться—программа добиваться с оружием в руках господствующего положения в государстве для работника“.

Всю эту галиматью можно об'яснить лишь тем, что Анненков забыл или вычеркнул из своей памяти решительно все, что относилось к этой новой встрече. Иначе он вспомнил бы, каким вынужденным образом попал в Париж Маркс, и как немецкая колония раскололась на два лагеря, во главе одного из которых стоял Гервег и симпатизировавшие ему Герцен и Бакунин, а во главе другого—Маркс и Энгельс, скоро „оставившие“ не свое „намерение“, а Париж, чтобы принять участие в немецкой революции.

„Но и до этой эпохи были минуты заочной беседы с Марксом, весьма любопытные для меня: одна такая выпала на мою долю в 1846 г., когда по поводу известной книги Прудона „Système des contradictions économiques“, Маркс написал мне по-французски пространное письмо, где излагал свой взгляд на теорию Прудона“.

Именно, это письмо Анненков приводит в своих воспоминаниях. К сожалению, издатели книги „Анненков и его друзья“, напечатавшие письма Бакунина к Анненкову, почему-то сделали исключение для письма или, вернее, для писем Маркса так как их было, как мы сейчас увидим, несколько. В переводе Анненкова или, вернее, в его изложении, письмо Маркса, вызывает сомнения, укрепляемые напечатанными г. С. Ан—ским примечаниями Маркса к этому письму [1]). Так, по поводу

---

[1]) К характеристике Маркса (Примечания К. Маркса к „Замечательному десятилетию“ П. Анненкова. Русская Мысль, 1903 г. Август). Эти примечания найдены были мною в книжках „Вестника Европы“, принадлежавших Марксу и, после его смерти, переданных вместе со

отожествления критики Прудона и Фурье, которое приписывает ему Анненков, Маркс замечает, что „я писал прямо обратное тому, что он приписывает мне: ведь, именно Фурье первый осмеял идеализацию мелкой буржуазии“. В остальных частях своих письмо представляет только конспект некоторых глав „Нищеты философии“, над которой в то время работал Маркс. Анненков так основательно забыл об этой, когда-то хорошо известной ему книге, что смешивает ее с будущим „Капиталом“. Что же касается впечатления, произведенного на него критикой Маркса, то он его так резюмирует: „Признаюсь, я не поверил тогда, как и многие со мною, разоблачающему письму Маркса, будучи увлечен, вместе с большинством публики, пафосом и диалектическими качествами прудоновского творения“ [1]).

Мы сейчас увидим, что „минуты заочной беседы“ с Марксом не ограничивались одним письмом и что было время, когда Анненков находился в таком же „энтузиастическом настроении“, как и его закадычный приятель. Уже 8 мая (1846 г). он пишет Марксу из Парижа:

Mon cher monsieur Marx!

Вот уже месяц, как я здесь. Я часто думал о Вас, но не мог найти свободной минуты, чтобы написать Вам. Не без основания говорят, что праздные люди—самые занятые люди во всем мире. Письмо к Гейне, которое Вы любезно дали мне, я передал вместе с своей карточкой, но так как я забыл прибавить к этому просьбу о свидании, то Гейне не ответил мне, и я остался ни с чем. Что касается Эвербека, то никто не знает здесь его адреса—ни Гервег, ни Бакунин, но я надеюсь скоро найти его. На-днях я рассчитываю сделать визит Бернайсу в его убежище.

Париж был сильно взволнован выстрелом, направленным

многими другими русскими книгами Энгельсом Лаврову. Статьи Анненкова были переплетены со статьями Пыпина в тот „небольшой томик“, который был в руках С. Ан—ского, но исчез теперь, так как его нет ни в Лавровской, ни в Тургеневской библиотеке, куда, после смерти Лаврова, была передана часть книг Маркса. А между тем, кроме примечаний, напечатанных С. Ан—ским, на полях были еще и другие пометки.

[1]) Письмо Маркса напечатано теперь в третьем томе переписки М. Стасюлевича. (Прим. ко второму изданию).

в короля. Зато много занимаются почетными крестами, которые были распределены в день Св. Филиппа. Полемика двух консервативных журналов по вопросу о том, какой король предпочтительнее: дурак или интриган, явилась очень кстати, чтобы развеселить парижскую публику, которой наскучили речи в палате и Тюльери. В ожидании приближающихся выборов, мы болтаем и спорим с нашими друзьями о разных вещах: о Польше, о прусском кронпринце, коммунизме, Берне, Gattung, выставке и т. п. Недавно я был на собрании редакторов-рабочих газеты Union. Они тоже говорили и спорили, но они отнимали у своего сна время, чтобы отдаваться этому интеллектуальному наслаждению, и в результате их дебатов при закрытых дверях—всегда новый нумер журнала, который они все редактируют. Во всяком случае, эти дебаты были не бесполезны!

Я только что получил известие, что Толстой принял решение продать все имения, которые ему принадлежат в России. Не трудно догадаться с какой целью... [1]).

Передайте привет Энгельсу и всем, кто еще помнит о скифе, гостившем у них.

Мой дорогой Маркс, если вы напишете мне несколько слов по-немецки или как угодно, адресуя письмо Ваше Rue Caumartin, 41, то Вы прибавите еще новую услугу к многим другим, которые Вы мне оказали и которые я так сильно ценю.

Весь Ваш П. Анненков.

Париж, 8 мая.

Итак, наш пострел везде поспел. Он успел заручиться рекомендательным письмом к Гейне, хотя не сумел использовать его, он должен познакомиться с Эвербеком, тогда одним из лидеров парижской общины „Союза Справедливых“, и с Бернайсом, бывшим редактором Vorwärts'a, он попал даже на собрание редакторов газеты Union и, зная с кем имеет дело, ехидно противопоставляет в письме к Марксу бесплодные словопрения „интеллигентов“ и „небесполезные“ дебаты „рабочих“. Но интереснее всего то обстоятельство, что именно он

---

[1]) Курсив наш.

сообщает Марксу о решении Толстого продать все имения, принадлежащие ему в России. А из воспоминаний Анненкова следует, что „степной помещик“ уверил Маркса, что „бросит свой капитал в жерло предстоящей революции“ еще до знакомства Анненкова с Марксом. Возможно, что именно этим несоответствием с действительностью в рассказе Анненкова об'ясняется сердитое примечание Маркса: „Ложь! Ничего подобного он не говорил. Напротив, он уверял, что вернется к себе домой для вящшего блага своих крестьян. Он даже был настолько наивен, что приглашал меня с собой“. В свою очередь Маркс забыл, что именно Анненков сообщил ему о плане Толстого, хотя и в неопределенных выражениях.

Ответ Маркса на письмо Анненкова нам неизвестен. Возможно, что его письмо, вместе с другими, хранится еще в бумагах Анненкова. Следующее письмо последнего является ответом на письмо Маркса из Брюсселя от 27 мая. Оно помечено 2 июня и написано в еще более „нежном“ тоне.

Mon cher monsieur Marx!

Получив Ваше письмо от 27 мая, я поспешил передать Бернайсу, чрез посредство Эвербека, 140 франков, так как непредвиденные обстоятельства помешали мне передать ему их лично. Я надеюсь еще иметь это удовольствие, когда поеду посмотреть Монморанси. Что касается Вашей угрозы послать мне большое письмо, то это такая угроза, которая меня мало пугает и исполнения которой я больше всего желал бы. Сделайте это, мой дорогой Маркс, пишите мне и рассчитывайте на мою благодарность и взаимность.

Спор между Гизо и Тьером закончился на парламентской трибуне. Странное дело! В своей последней речи Тьер выступил, как представитель революции, прогресса. Говорят, что это на руку герцогу Немурскому, который может теперь совершить очень мужественный, даже смелый, политический акт, пригласив Тьера в министры.

Кроме того, ничего нового, если не считать пришедшего из Германии известия, что сейм запретил перепечатку и продажу сочинений Фейербаха.

2 июня. Париж. Весь Ваш П. Анненков.

Вскоре после этого письма Анненков уѣзжает из Парижа. Летом он совершил путешествие—вместе с Боткиным—по Тиролю и Ломбардии. Оно продолжалось три месяца. По возвращении в Париж, он нашел у себя дома письмо Маркса с запросом по поводу Толстого. И мы сейчас увидим, с какой горячностью заступился Анненков за „нашего степного помещика“. Следует заметить, что известие, переданное Энгельсом о пребывании Толстого в Лондоне, подтверждается и с другой стороны: Головин рассказывает в своих „Записках“, что он и Сазонов встретили совершенно неожиданно Толстого в Лондоне. Прибавим к этому, что в 1845 г.—месяц к сожалению не указан—Толстой выбыл в Россию.

Вот что пишет Анненков Марксу:

Mon cher monsieur Marx!

Я приехал только вчера из Италии и нашел у себя дома Ваше письмо. Толстой, о котором пишут в Allgemeine Zeitung, совсем другое лицо, чем тот, которого мы знаем, и имеет с ним общего только имя. Толстой (из газет) действительно русский агент, донесший на Долгорукова, Головина и многих других, признанный шпион русской полиции и одинаково презираемый как теми, которым он служит, так и теми, которых он предает. Он принял участие в восстании 1825 г., бежал, когда оно кончилось поражением, и, чтобы добиться прощения, унизился до того, что стал самым низким из куртизанов и и самым подлым из шпионов... О, Боже! И наш честный, простой, прямой Толстой, который думает теперь в России только о том, чтобы продать все свои имения и поселиться в Европе. И я благодарю Вас, мой дорогой Маркс, от его имени за то, что Вы усомнились, читая статью в Allgemeine, и обратились ко мне за раз'яснениями.

Я продолжаю жить на Rue Caumartin, 41, где и ожидаю новостей от Вас и Ваших друзей и, главным образом, о Вашей книге.

Весь Ваш П. Анненков.

30 октября. Париж.

„Честный, прямой, простой“ Толстой, а через тридцать лет не то бессовестный обманщик, не то подосланный шпион! Уже одно это внезапное превращение, которое трудно об'яснить одной только забывчивостью, вызывает подозрение. Странно и то, что в этом письме Анненков доподлинно знает такие вещи, о которых не знал тогда даже Головин, одна из жертв Толстого. А у нас имеются еще и другие доказательства, что Анненков наверное был знаком с Яковом Толстым, с которым его связывал еще другой общий итерес. Мы видели выше, что Толстой принимал очень деятельное участие в „Зеленой Лампе“. Выпрашивая себе помилование, он сугубо старался изобразить это общество кружком кутил и развратников. И так же решительно превращает „Зеленую Лампу“ в „оргиаческое общество“ Анненков, глухо ссылаясь на какие-то „розыскания и расспросы“ [1]). Вспомним, что наш турист не первый раз попал в Париж в 1846 г. Он жил уже там с ноября 1841 г. до осени 1843 г., т.-е. до приезда туда Маркса и Бакунина, и в качестве чиновника министерства финансов не преминул уже тогда познакомиться с „корреспондентом министерства народного просвещения“. Во всяком случае, этот Толстой не принимал никакого участия в восстании 14 декабря и не бежал после его неудачи, как это так обстоятельно сообщает Марксу Анненков!

Мы уже упоминали выше об одном письме Бакунина из Брюсселя, отрывок из которого приведен в воспоминаниях Анненкова. Оно писано Бакуниным после его высылки из Парижа за речь на банкете 29 ноября 1847 г. Как дата, так и адресат указаны Анненковым неверно. Бакунин пишет, между прочим: Я, вероятно, скоро должен буду снова ораторствовать; покамест не говорите об этом, кроме Т., никому; я боюсь, чтоб чрез Сазонова не узнали об этом славянщики, а дело еще не совсем решено“. Анненков, который и является адресатом, на называет Т., но в сборнике „Анненков и его друзья“, где письмо Бакунина напечатано, как одно из писем к Анненкову, вместо Т. назван Тургенев. А, между тем это сообщение нуждается в проверке. Тургенев в то время

1) Анненков П. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. В Е. 1873. ноябрь, с. 47.

поглощен был совершенно другими интересами, и сомнительно даже, чтобы он мог тогда часто встречаться с Бакуниным. Он приехал в Париж в 1847 г. после того, как так внезапно покинул Белинского в Зальцбрунне. Сам Анненков в другом месте сообщает нам, что „дела его (Тургенева) были в плохом состоянии: он не мог жить в Париже, поселился в пустом замке, предоставленном ему Жорж Зандом где-то на юге, и наезжал по временам в Париж, обегал своих знакомых и скрывался опять“ [1]. Непонятно, почему Бакунин делает это исключение именно для Тургенева, и в то же время при том антагонизме, который несомненно существовал между ним и Сазоновым, решительно выступившим против Толстого, вполне естественно, что он просит Анненкова, чтобы тот не сообщал о его сношении с поляками в Брюсселе именно Сазонову.

И несмотря на категорическое утверждение Анненкова — вспомним письма друзей Азева, — мы все же остаемся при нашем предположении, что таинственный Толстой — „честный, прямой, простой“ энтузиаст, закадычный друг Бакунина, до такой степени влюбленный в Анненкова, что, по его словам, достаточно было посмотреть на нашего туриста, чтобы полюбить его — может быть только бывшим президентом общества „Зеленой Лампы“. И если Анненков после рассказывает, что „друг“ Маркса умер престарелым холостяком в Москве еще в середине семидесятых годов, то мы и к этому известию относимся так же скептически, как и к другим его сообщениям о нашем степном помещике; в лучшем случае они свидетельствуют только о совершенно ослабевшей памяти [2].

Горячее письмо Анненкова, вероятно, рассеяло сомнения Маркса. В ответ ли на это письмо, или на другое, писанное позже, Анненков получил от Маркса то большое письмо, ко-

[1]) Анненков П. В. Молодость И. С. Тургенева „Вестник Европы“, 1884 г., февраль, стр. 467—468.

[2]) В „Московском Некрополе“ (Издание великого князя Николая Михайловича, Спб. 1908 г., стр., 213—215) названо несколько Толстых, умерших в Москве в семидесятых годах, но ни об одном из них мы не нашли каких-либо сведений, указывающих на знакомство с Бакуниным или Анненковым. Остается ждать, пока какой-нибудь исследователь не получит доступа к бумагам Анненкова. Несомненно также, что и в бумагах Николая Тургенева, переданных теперь в Академию, найдены будут письма Толстого.

торое он цитирует в своих воспоминаниях. И мы сейчас увидим, сколько правды в его словах, когда он уверяет нас, что письмо это не оказало на него никакого влияния:

„Вы мне оказали истинную услугу, мой дорогой Маркс, написав Ваше хорошее письмо от 28 декабря. Ваше мнение о сочинении Прудона своей точностью, ясностью, а главное, тенденцией к действительности доставило мне большое наслаждение. Мы так часто склонны теряться в ложном блеске абстрактной мысли, мы так часто подвергаемся искушению рассматривать мишурные создания мозга, поглощенного исключительно собою, как последнее слово науки и философии! И дружеский голос, раздающийся тогда над вами и приводящий вас опять к экономическим и историческим **ф а к т а м**, показывающий их вам в их **д е й с т в и т е л ь н о м** развитии, — развитии, имеющем совсем другое значение, чем фиктивное развитие чистых категорий и логических противоречий, — голос, подрывающий в самых его основах сложное здание системы вне жизни, истории и настоящей науки, — такой голос заслуживает всей нашей благодарности за то целительное действие, которое он производит. Вы совершенно искупили свое долгое молчание, мой дорогой Маркс. Я все время перечитываю Ваше последнее письмо. Но Ваша снисходительность, с которой Вы мне ответили на первые мои вопросы, дает мне смелость обратиться к Вам еще с другими вопросами. Во-первых: признавая всю произвольность прудоновской классификации экономической эволюции, считая совершенно иллюзорным его способ побивать практику теорией и vice versa (заколдованный круг, от которого можно заболеть) — мне все же хотелось бы знать, не заслуживает ли критическая часть его сочинения гораздо бóльшего внимания. Разбор некоторых положений официальной политико-экономической школы отличается такой доказательностью и силой, что значение его прекрасно сознается всеми, на кого Прудон напал. Так удары, которые он нанес доктрине Л.-Блана, произвели здесь сильное впечатление и дискредитируют ее навсегда. Уже этого одного достаточно, чтобы признать его книгу очень полезным делом по отношению к Франции, но он сделал еще больше: он осмелился сказать нации, которая в своих самых революци-

онных мечтах не идет дальше 93-го года и режима Робеспьера, что всякое правительство, изолирующееся в государстве, безнравственно. Именно этим объясняется conspiration de silence, жертвой которой Прудон теперь является. В силу молчаливого соглашения все партии сговорились не упоминать ни одним словом о его труде, но ненависть и ярость прорываются даже в стараниях скрыть их. В этом одиночестве Прудона есть своего рода величие. Вы знаете, мой дорогой Маркс, что нужно иметь права и очень большие, чтобы быть ненавидимым. Из этого я делаю вывод, что книга Прудона, не представляя ничего крупного в области прогресса экономических идей, имеет все же значение в области политики, воспитания и тенденций буржуазии во Франции.

Мне нечего повторять Вам, с каким нетерпением я жду Вашего сочинения. Только с большим трудом я могу побороть в себе желание предложить Вам несколько вопросов о коммунизме. Правда, для меня они имеют экстраординарное значение и важность. Чаще, чем когда-либо, я задаю себе вопрос, не предполагает ли коммунизм принесение в жертву некоторых выгод, доставляемых цивилизацией, отречение от некоторых прерогатив личности, приобретенных с таким трудом, наконец, высокий уровень всеобщей этики, трудно достижимый? Он, правда, хорош даже и в этом смысле, но он перестает тогда быть необходимым продуктом человеческого развития. Его нужно прививать, и он, таким образом, подвергается всем рискам, с которыми сопряжены всякие опыты, всякое новшество, принудительно вводимое в данном обществе. Некоторые возражения Прудона все еще всплывают в моей памяти, но я чувствую, что все это мелочно... Я предоставляю вполне на Ваше усмотрение дать или не дать мне объяснения по этому поводу.

Простите милостиво эту длинную нелепицу и примите еще раз мою горячую благодарность за драгоценные указания в Вашем последнем письме.

Весь Ваш П. Анненков.

6 января 1847 г.

Париж.

И подумать, что это восторженное письмо, — Анненков не хочет мириться даже на Робеспьере — писано тем самым автором, который с презрительным сожалением писал после о Сазонове, что он „разделял эксцентрические планы заграничных партий и их несбыточные надежды“ [1]). Ясно, что именно такие письма дали Марксу повод писать, что русские аристократы носили его на руках. Но чтобы оценить по достоинству легкость, с которой наш „турист“ порхал с одного принципа на другой, нужно прочитать еще его письма, писанные им в промежуток от 8 ноября 1846 г. до 23 декабря 1847 г. для своих соотечественников [2]). Правда, уже и в письме к Марксу, в котором Анненков так смакует новое „знакомство“, в заключение ясно выглядывает убогий филистер. Еще более льстивый характер носит последнее письмо Анненкова к Марксу:

„Я уже несколько раз хотел Вам писать, но, потеряв Ваш адрес, не мог сделать этого. Наконец мне удалось получить его от Гервега, который теперь болен и просит меня передать Вам, чтобы Вы ему простили его долгое молчание. Я также рассчитываю на Ваше великодушие, и оба мы надеемся на Вашу доброту: как говорят, прощать другим очень приятно.

Я возвратился в Париж чрез Франкфурт, Страсбург и т. д., и это лишило меня удовольствия вновь повидать Вас в Брюсселе.

Устроившись в Париже, я принялся за свои обычные труды, т.-е. тяжкие поиски какого-нибудь занятия. Иногда мне удается заполнить эту пустоту честно, но чаще всего я, после напрасных стараний, опускаю руки. Не правда ли, мой дорогой Маркс, гений современной цивилизации очень беден и очень скуп, если он не в состоянии дать мне ответа, когда я прошу у него развлечений? Иногда он внушает мне жалость.

Именно, в эти моменты душевного упадка и скуки я думаю о тех моих друзьях, которые умеют так хорошо, как Вы, мой дорогой Маркс, заполнять свое существование. И я объясняю свою леность их деятельностью: природа хотела равновесия, компенсации. И я тогда становлюсь в своих глазах

[1]) Идеалисты тридцатых годов в „Литературных воспоминаниях“ Спб. 1909, с. 85.

[2]) Они перепечатаны в сборнике „Анненков и его друзья“. Спб. 1892

такимъ же необходимымъ и почтеннымъ существомъ, какимъ, дѣйствительно, являются все выдающіеся люди. Безъ слабости нѣтъ силы, и безъ бездѣльниковъ нѣтъ воздаянія за заслуги и труды. Я приглашаю Васъ не лишать меня подобнаго утѣшенія и работать много, много, мой дорогой Марксъ.

Я еще не имѣлъ Вашей брошюры о Прудонѣ и его доктринѣ, ибо единственный экземпляръ, извѣстный мнѣ въ Парижѣ, принадлежитъ Гервегу и гуляетъ по рукамъ. Когда придетъ моя очередь, я прочту ее самымъ внимательнымъ образомъ.

Мой дорогой Марксъ, будьте такъ добры передать госпожѣ Марксъ чувства глубокаго почтенія и уваженія, которыя она внушаетъ всѣмъ, имѣвшимъ счастье познакомиться съ нею и видѣть ее хотя бы одинъ разъ.

Жму Вамъ руки. Въ ожиданіи отвѣта остаюсь весь Вашъ

8 декабря. Парижъ. П. Анненковъ".

Если въ 1847 г. „слабые люди" играютъ еще служебную роль въ экономіи природы, если они играютъ роль рамки для „сильныхъ" людей, то въ 1859 г. нашъ „русскій человѣкъ на Rendez vous" возводитъ ихъ въ перлъ созданія. Но уже и въ 1847 г. онъ любуется на свою „слабость" и кокетничаетъ ею: онъ, хотя и въ шутку, жалуется, что „геній современной цивилизаціи" доставляетъ ему слишкомъ мало развлеченій, слишкомъ мало щекочетъ его притупленные нервы.

Судьба сжалилась надъ нимъ. Грянула февральская буря, но нашъ любитель сильныхъ ощущеній, послѣ цѣлаго ряда непріятностей—въ томъ числѣ и обыска, произведеннаго у него по подозрѣнію въ томъ, что онъ состоитъ агентомъ русскаго правительства,—предпочелъ вернуться подъ сѣнь родныхъ пенатовъ и выкинуть всякое бредни изъ своей головы.

„Съ возвращеніемъ моимъ въ Россію, въ октябрѣ 1848 года, прекратились и мои сношенія съ Марксомъ и уже не возобновлялись болѣе. Время надеждъ, гаданій и всяческихъ аспирацій тогда уже прошло, а практическая дѣятельность, выбранная затѣмъ (!) Марксомъ, такъ далеко убѣгала отъ русской жизни вообще, что, оставаясь на почвѣ послѣдней, нельзя было слѣдить за первой иначе, какъ издали, посредственно и неполно, путемъ газетъ и журналовъ".

Во всех этих „жалких“ словах верно только одно: сношения Анненкова с Марксом никогда более не возобновлялись. Мы выше уже высказали предположение, что еще весной 1848 г. Маркс должен был разойтись с Анненковым, но последний предпочитает валить с больной головы на здоровую. Его „коммунистический“ экстаз связан был с временем надежд и „аспираций“. Новое время—новые песни, и Анненков, с непринужденностью тех политических Фреголи, которых русская земля „являет“ и „рождает“ в таком огромном количестве, совлек с себя новый костюм, чтобы опять облечься в старые ризы. Что именно „делал“ Анненков на „почве русской жизни“, мы уже знаем, и можем ему верить, что у него не было тогда никакого побуждения возобновить „заочную беседу“ со старым другом. Но то обстоятельство, что ни в одну из своих позднейших поездок за границу (в 1858, 1860 и 1862 г.г.), ни в течение 15 лет (1867—1883), проведенных им в Дрездене [1]), эти „заочные беседы“ ни разу не повторялись, показывает, что были еще другие причины, в силу которых сношения его с Марксом прекратились. Вспомним, что только Тургенев, ценивший в Анненкове его бесспорное эстетическое чутье, оставался с ним в дружеских отношениях [2]), что так же „далеко убегала от русской жизни“ нашего сибарита и практическая деятельность, выбранная остальными героями „замечательного десятилетия“. Могли быть и другие причины, на которые намекает необыкновенно резкий тон примечаний Маркса. Но об них можно только догадываться. Анненков, правда, никогда не скатывался так низко по наклонной плоскости, как его закадычный друг, В. П. Боткин, но он вполне заслужил приговор Маркса. В шестидесятых годах всякие „аспирации“ были

---

[1]) Маркс умер 14 марта 1883, Анненков 20 (8) марта 1887.

[2]) Некрасов посвятил этой дружбе следующую эпиграмму:

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке,
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал.

„Русский Архив“ 1884 г., март, стр. 235.

уже совершенно чужды ему, и даже „заочные“ беседы с „сильными“ людьми могли бы только нарушить безмятежную жизнь нашего „слабого“ человека.

IX.

Мы только-что упомянули о Боткине. Еще в 1897 г., когда г. Струве занимался „оправданием“ нашего капитализма и приглашал к нему на „выучку“, он, в поисках за „легальными“ предшественниками своего „легального“ марксизма, наткнулся на письма В. Боткина к Анненкову и, опираясь, между прочим, на показания этого „достоверного и добросовестного свидетеля“, сделал попытку превратить Боткина в родоначальника русского марксизма. „С удивительной научной прозорливостью—без особенно напряженной работы мысли, а скорее благодаря какой-то гениальной интуиции—он частью, быть-может, предвосхищал, частью схватывал на-лету важнейшие социологические обобщения, до которых дорабатывалась европейская наука в лице французских социалистов (Сен-Симона и сен-симонистов) и французских историков (Тьерри и др.) и великих немецких теоретиков социологии, Штейна и Маркса“[1]).

Что же именно привело г. Струве в такой восторг? Несколько мест в „Письмах из Испании“ и, в особенности, в письмах Боткина к Анненкову, в которых указывается на значение „экономического фактора“ и защищается западно-европейская буржуазия „против нападок наших славянофилов и Герцена“. В восклицании Боткина: „дай Бог, чтобы у нас была буржуазия“, г. Струве, этот классический „турист“ нашей публицистики, с радостью узнал свое „пойдем на выучку к капитализму“. Сердце сердцу весть дает, и Струве поспешил, от имени „легального“ марксизма, „родными счесться“ с действительным предком нынешних Гучковых. Чувствуя, однако, что „гениальные прозрения“ Боткина как-то мало вяжутся со всей духовной физиономией этого писателя, он уже на следующей странице отнимает у Боткина „удивительную научную прозорливость“ и старается объяснить „гениальную интуицию“ своего духовного прадеда более простым путем.

---

[1]) П. Струве. На разные темы, Спб. 1902, стр. 106.

„Быть-может, гениальные прозрения Боткина не были самостоятельными проблесками его критической мысли, а являлись навеянными личным общением с знаменитым немецким социологом (или его литературными произведениями), с именем которого они связаны в истории европейской науки. Кто знает? Об отношениях Боткина к Марксу нам ничего не известно“.

Мы уже приводили выше слова Руге о Боткине и его отношениях к немцам. Но Боткин бывал в Париже и до 1844 г. В первый раз он попал в Париж еще в 1835 г. Тогда пылкий романтик, он не замедлил посетить Виктора Гюго, от которого даже получил бумажку с надписью „Qui spirat, sperat“. Италия окончательно убедила его, что „средние времена ближе его сердцу“. Характерно, что свои воспоминания о Риме он написал после появления „Рима“ Гоголя. В 1842 г. он уже вступает в борьбу с „романтикой“ и становится на сторону „духа нового времени“. Он принимает на себя обзор текущей германской литературы. 29 декабря 1842 г. он жалуется Краевскому: „Вот, например, теперь читаю я немецкое сочинение чрезвычайно умного немца Штейна о социализме и коммунизме нынешней Франции. Книга во всех отношениях превосходная. С удивительным вниманием наблюдает он биение внутреннего пульса нового французского общества, анализирует и излагает его с глубиною и тактом человека, стоящего на вершине современной цивилизации — и, несмотря на все мое желание, на новость предмета для русской публики, нельзя сказать ничего об этой книге“ [1]).

Итак, знакомство Боткина с творением soi-disant „великого“ теоретика социологии, Лоренца Штейна, засвидетельствовано им самим. Ни о какой „удивительной научной прозорливости“ тут не может быть и речи, и Боткин мог „без особенно напряженной работы мысли“ заимствовать „социологические обобщения“, которые, правда, и у Штейна являлись водянистым и многословным парафразом идей французских социалистов. Что же касается несомненных следов влияния Маркса, то они, по нашему мнению, объясняются лучше всего посредничеством Анненкова, который и был главным провод-

---

[1]) Ветринский. Боткин. „Новое Слово“ 1894 г., декабрь, стр. 61.

ником этого влияния, мимолетного, как и многие другие увлечения „такого — по очень резкому выражению Герцена — вечного мастурбатора идей, искусства, политики и пр., как Боткин“ [1]).

В 1844 г., после своего неудачного романа, описанного Герценом в очерке „Базиль и Арманс“, он опять попал в Париж, когда там жил еще Маркс. Он мог, конечно, встречаться с последним, но это знакомство было совершенно мимолетным, шляпочным. Весь образ его жизни в Париже исключал возможность сближения между ними. По словам Анненкова, Боткин тогда пустился во все тяжкие. Он „предался весь сексуальной жизни, окунулся в самый омут парижских любовных и всяческих приключений, дополняя их раздражающими впечатлениями искусства, в котором кропотливо рылся, отыскивая тончайшие черты произведений, что было видоизменением того же культа сексуализма, которому он предался. Он отрывался от него по временам, чтобы освежить голову от хмеля одуряющих наслаждений, и возвращался к ним еще с бо́льшей энергией. Плодом таких гигиенических перерывов (так Анненков называет неприятные последствия той эротической „тревоги“, которой охвачен был тогда Боткин) была его поездка в Испанию и прекрасная книга, за ней последовавшая. Из того же источника, — прибавляет глубокомысленно Анненков — проистекали и его занятия социальными и политическими вопросами, в которых он с изумительной прозорливостью открывал и потом преследовал малейшие черты скрытого идеализма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сделавшиеся теперь предметом его ожесточенной ненависти“.

Таким же „гигиеническим перерывом“ послужило для Боткина трехмесячное путешествие летом 1846 г. по Тиролю и Ломбардии, совершенное им вместе с Анненковым, который тогда находился еще в периоде восторженного увлечения Марксом. Новый прозелит марксизма не преминул, конечно, рассказать своему другу о последнем откровении, о борьбе Маркса с немецкими истинными социалистами, не понимавшими значения

[1]) Из письма Герцена к Тургеневу. См. Письма Кавелина и Тургенева к Герцену, Женева 1892 г., стр. 189. Герцен прибавляет: „Они смотрят на мир, как старик на похабные изображения, и влекутся к силе, как все слабое, дряблое“

буржуазии, промышленных интересов и т. д., и т. д. Достаточно сравнить раздел третий главы о социалистической и коммунистической литературе в „Манифесте" Маркса и Энгельса, чтобы узнать все „гениальные прозрения" Боткина: все цитаты из писем его относятся ко времени после этого путешествия и понятны только, как отголосок и продолжение бесед с Анненковым. „Схваченную на-лету" новую премудрость, перевирая ее и подменяя плоскими афоризмами из Штейна, он преподносит теперь с апломбом своим московским и питерским друзьям. Из „того же источника" ведут свое происхождение его критические замечания по поводу писем Герцена из Avenue Marigny, этой новой вариации на старые темы немецких „истинных социалистов" с их традиционными анафемами против буржуазной конкуренции, буржуазной свободы печати, буржуазного права и т. д., и т. д. И это же отраженное и преломленное в мозгу Анненкова влияние Маркса мы встречаем в замечаниях Белинского, с которым Анненков провел почти все время его заграничного путешествия в 1847 г., с той только разницей, что у Боткина оно уже к концу 1847 г. совершенно улетучивается и превращается в такую же пародию на марксизм, как и „глубокие" прозрения многих наших „легальных марксистов" девяностых годов. Новое „практическое направление" Боткина и его вражда ко всему противоположному — то, что Анненков называет его враждой против „скрытого новализма" — вызывает отвращение еще у Белинского. А затем Боткин начинает „смаковать" Карлейля и Шопенгауэра, пишет после доносы на „Современник" и „Русское Слово", обещает Фету иллюстрировать его разбор „Что делать" рядом „коммунистических эпизодов", коих он был свидетелем в 1848 г." [1]), и, наконец, умирает в экстазе гастрономической „тревоги".

В начале нашего очерка мы сказали, что попытка определить круг тех „русских аристократов", с которыми мог встречаться Маркс в сороковых годах, дала бы также материалы для решения вопроса, существовало ли еще в сороковых

[1]) Боткин в 1848 г. не был в Париже.

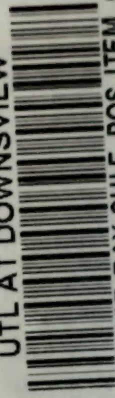
годах какое-нибудь непосредственное воздействие идей Маркса на эволюцию нашей общественной мысли.

Мы можем теперь ответить, что такое влияние действительно имело место, но оно оставалось чисто индивидуальным и кристаллизовалось только в случайных заявлениях. Оно не вошло определенным звеном в дальнейшее развитие русской общественной мысли и никакой идейной преемственности между „марксизмом“ Анненкова и Боткина и современным нет и не может быть.

Совершенно изолированным явлением осталась и „подпольная“ деятельность Сазонова, единственного человека сороковых годов, на которого „Манифест“ оказал влияние уже в 1848—1849 г.г. Она протекала далеко от русла российской действительности и вряд ли оказала какое-нибудь влияние на людей шестидесятых годов.

Знакомство Маркса с людьми сороковых годов остается только любопытным эпизодом в истории „западного влияния в русской литературе“. Он показывает, что необходима наличность вполне определенных материальных и интеллектуальных элементов, чтобы продукт „чужеядного творчества“ пустил прочные корни в другой стране. И прошло еще не мало лет, пока доктрина „немецкого еврея“ стала знаменем величайшей эпохи в историческом развитии „самобытного“ русского народа.

Июль 1912 г.


UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 11 11 12 10 021 9